
Забытая
вампирская
новелла XIX-XX вв.
УПЫРЬ НА
ФУРШТАТСКОЙ



Salamandra P.V.V.

УПЫРЬ
НА
ФУРШТАТСКОЙ

Забытая вампирская
новелла XIX-XX вв.

Salamandra P.V.V.

Упырь на Фурштатской: Забытая вампирская новелла XIX-XX вв. Сост. и комм. С. Шаргородского. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 168 с., илл. – PDF.

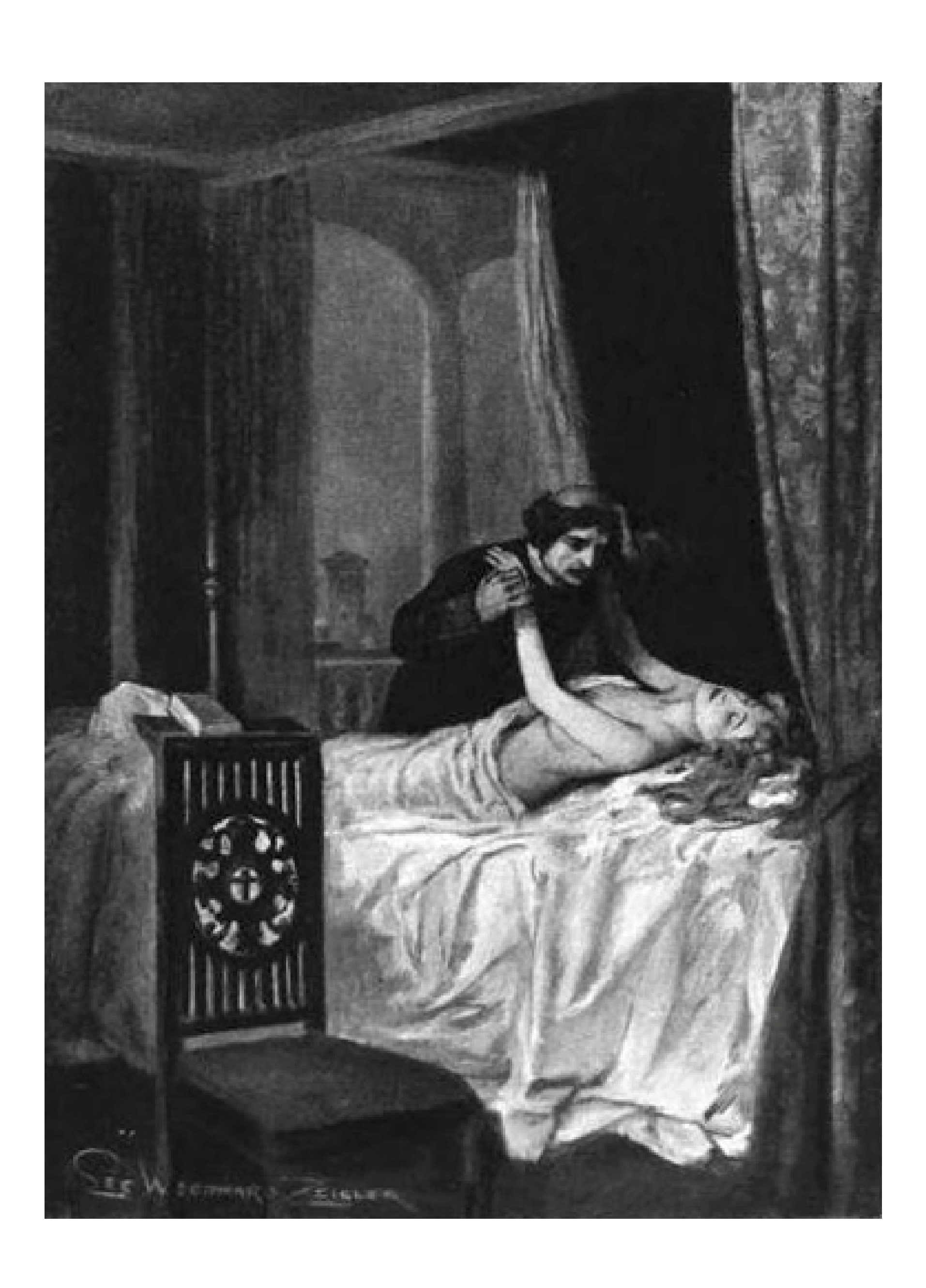
Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.

Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» – сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.

«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.

«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием. Новеллы А. Амфитеатрова «Он», «История одного сумасшествия» и «Киммерийская болезнь» – блестящие вариации на тему вампирических любовников. Безумие и смерть ожидают людей, которых избрали своими возлюбленными вампиры…

Заключает сборник «Вампир» одного из первых русских научных фантастов и создателя мистических рассказов С. Соломина (Стечкина), предлагающий ряд оригинальных трактовок вампиризма.



УПЫРЬ НА ФУРШТАТСКОЙ

Забытая вампирская новелла
XIX-XX вв.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Вошедшие в эту книгу произведения смело можно назвать забытой классикой вампирической литературы. Многие из них редко или практически никогда не переиздаются, другие – как «Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы – до сих пор и вовсе пребывали в неизвестности.

Книгу составили в основном сочинения русских авторов, и они отнюдь не исчерпывают вампирический жанр в русской литературе XIX-первой половины XX века: область эта куда богаче, чем представляется многим читателям и академическим исследователям (тем более что поэтические произведения не были включены в книгу и, вероятно, составят отдельную антологию).

Исключением является новелла «Таинственный незнакомец», специально переведенная для настоящего издания. Это сочинение, чья английская версия была впервые опубликована в 1854 г., стало важнейшим источником знаменитого «Дракулы» Брэма Стокера.

В комментариях читатель найдет основные сведения, касающиеся включенных в книгу новелл, и некоторые беглые замечания по поводу их взаимосвязей и места в вампирической литературной традиции; углубленное рассмотрение их – дело будущего.



ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность.

Гамлет.

Борей, этот грозный северо-западный ветер, что весной и осенью вздымает водные бездны бушующей Адриатики и становится так опасен для кораблей, с воем проносился по лесам, раскачивая ветви старых узловатых дубов в Карпатских горах, когда отряд из пяти всадников, окружавших паланкин, за-

пряженный парой мулов, свернул на лесную тропу, даровавшую путникам некоторое укрытие от апрельской непогоды и позволившую им чуть перевести дух. Наступал вечер, принесший с собою невыносимый холод; время от времени снег начинал идти большими хлопьями. Во главе отряда ехал верхом высокий старый господин с аристократической внешностью; то был владетель Фаненберга в Австрии. От бездетного брата он унаследовал большое имение, находившееся в Карпатских горах; теперь он, в сопровождении своей дочери Франциски и племянницы лет двадцати, которая воспитывалась вместе с нею, направлялся в свои новые владения. Рядом с кавалером скакал стройный молодой человек лет двадцати с лишним – барон Франц фон Кронштейн; на нем, как и на кавалере, была широкополая шляпа с длинными перьями, кожаный плащ, сапоги для верховой езды с широкими голенищами – словом, одежда путешественника, принятая в начале семнадцатого столетия. Черты молодого человека выдавали открытый и дружелюбный характер и известную рассудительность; но в выражении лица его было больше задумчивой и чувствительной мягкости, чем юношеской отваги, пусть никто и не смог бы отрицать, что он был в избытке наделен и юношеской миловидностью. Когда кавалькада свернула в дубовый лес, он направил коня к паланкину и заговорил с дамами, сидевшими внутри. Одна из них – к кому и были по преимуществу обращены его слова – отличалась ослепительной красотой. Ее волосы, от природы вьющиеся локонами, обрамляли изящный овал лица; сияющие подобно звездам глаза были исполнены чувства, живого воображения и даже игривости. Франциска фон Фаненберг, казалось, едва слушала речи поклонника, решившего осведомиться, как приходится ей в путешествии, каковое сопровождается

подобными лишениями; она, как обычно, отвечала ему коротко, почти презрительно, и наконец заметила, что если бы отец не возражал, она давно попросила бы барона занять ее место в паланкине, напоминающем ужасную клетку, ибо барона, судя по высказанным им наблюдениям, беспокоит погода; сама же она, несомненно, предпочла бы гарцевать на резвом коне и лицом к лицу встречать ветра и бури, чем сидеть здесь в заточении, в то время как паланкин влекут по холмам эти длинноухие животные, и умирать от тоски. Слова молодой дамы и особенно полупрезрительный тон, которым они были произнесены, оказали, по-видимому, самое болезненное воздействие на молодого человека: он ничего не ответил в этот миг, но рассеянный вид, с каким он выслушал любезные слова другой молодой дамы, показывал, насколько был он расстроен.

– Мне кажется, дорогая Франциска, – любезно сказал он в конце концов, – что дорожные тяготы обременяют вас куда больше, чем вы готовы признать. Вы обычно так добры со всеми, но во время нашего путешествия часто пребывали в дурном настроении, что так сказывалось на вашем покорном слуге и кузене, каковой с радостью вытерпел бы вдвое и втрое больше неудобств, если бы тем мог вас избавить от самого ничтожного из них.

По виду Франциски было понятно, что она собирается ответить новой колкостью, но тут послышался голос кавалера, звавшего племянника, и тот, пустив коня в галоп, поскакал вперед.

– Жаль, что не могу я порядком отчитать тебя, Франциска, – с ноткою недовольства произнесла ее спутница. – Стыдно так обходиться с бедным кузеном Францем: ведь он искренне любит тебя и когда-нибудь, что бы ты ни говорила, станет твоим мужем.

– Моим мужем! – со злостью проговорила Франциска. – Да мне придется полностью переменить свои взгляды или ему – все свое существо, прежде чем такое случится. Нет, Берта! Я знаю, что отец хотел бы этого больше всего на свете, и я не отрицаю, что у кузена Франца могут иметься, или имеются (вижу, вижу, ты уже состроила гримасу) свои достоинства; но выйти замуж за избалованного неженку – никогда!

– Избалованного неженку! ты совсем несправедлива к нему, – поспешила возразить ее подруга. – Только потому, что он не отправился на войну с турками, чем не добьешься славы, но послушался совета твоего отца и остался дома, чтобы привести в порядок свое запущенное имение, и сумел сделать это со всем тщанием и предусмотрительностью; и только потому, что он не называет этот бушующий ветер легким дуновением зефира – по таким ничтожным причинам ты именуешь его избалованным неженкой!

– Можешь говорить все что угодно, но он таков, – упрямо вскричала Франциска. – Человек, что завоюет мое сердце, должен быть смел, честолюбив и, не исключаю, деспотичен; мягкотелые, терпеливые и задумчивые натуры мне донельзя претят. Способен ли Франц на глубокое чувство, будь то в радости или в горе? Он вечно одинаков – сдержан, слабоволен и скучен.

– У него доброе сердце, и он не лишен пылких чувств, – сказала Берта.

– Доброе сердце! быть может, – отвечала Франциска, – но лучше пусть надо мной тиранствует, пусть подавляет мое естество будущий муж, чем дарит мне такую тоскливую любовь. Ты говоришь, что Франц не лишен и пылких чувств. Не стану возражать тебе, так как это было бы невежливо – но чувства эти обнаружить нелегко. И пусть ты права в обоих твоих утверждениях, человек, который ничем не проявляет свои ка-

чества, достоин порицания. Можно наделать немало глупостей, даже проявлять время от времени крутой нрав, если только в том не будет ничего неподобающего; и все же такого мужчину можно простить, если им руководят твердые воззрения и он движим неким идеалом. Возьмем, к примеру, твоего преданного обожателя, кастеляна Глогау, кавалера Войслава; он любит тебя всей душой и теперь всецело может обеспечить тебе должную жизнь в замужестве. Этот храбрый человек потерял правую руку – причина достаточна, чтобы отдыхать у камина или ткацкого станка милой Берты; но как поступает он? – Он отправляется на войну, в Турцию; он сражается по благородному поводу...

– Подвергая опасности вторую руку и рискуя заполучить еще один шрам через все лицо, – вставила ее подруга.

– Он оставляет возлюбленную даму, и та плачет и чахнет, – продолжала Франциска, – но вот он возвращается, увенчанный славой, и женится на ней, окруженный почестями и восхищением! И все это совершает человек сорока лет, суровый воин, выросший не при дворе, но солдат, у которого всего-то и есть, что плащ да меч. Тогда как Франц – богатый и знатный Франц – но нет, я не буду продолжать... Если ты любишь меня, Берта, больше ни слова об этом проклятом предмете.

Франциска с недовольной миной откинулась в угол паланкина и закрыла глаза, словно от усталости собиралась задремать.

– Ветер дует во всю силу, и нам, как ты говоришь, придется направиться в объезд, чтобы не угодить под его яростные порывы, – сказал кавалер, обращаясь к старику в меховой шапке и накидке из грубо выделан-

ной кожи, который, судя по всему, служил остальным проводником.

– Тот, кто сам никогда не испытывал ярости Борея, летящего меж Сессано и Триестом, не знает ничего о бурях, – ответил тот. – Когда поднимается ветер, снег метет по земле, свиваясь в высокие и мощные колонны. Но это ничто в сравнении с тем, что следует далее. Снежные колонны вздымаются все выше по мере того, как усиливается ветер, и вот уже сверху, снизу, со всех сторон не разглядеть ничего, кроме снега – если, конечно, к снегу не примешивается песок и гравий, потому что тогда и вовсе невозможно открыть глаза. Единственный способ спастись – закутаться в плащ и лечь плашмя на землю. Даже если дом ваш в нескольких сотнях шагов, вы можете расстаться с жизнью, пытаясь до него добраться.

– Что ж, мы благодарны тебе, старый Кумпан, – произнес кавалер, чей голос с трудом можно было различить в завывании бури, – благодарим тебя за то, что указал нам обходную дорогу; так мы сумеем достигнуть цели нашего путешествия, избежав опасности.

– Можете быть уверены в этом, благородный господин, – сказал старик. – К полуночи мы должны прибыть, и по пути нам ничто не грозит, если только...

Старик внезапно замолчал, резко дернул поводья коня и принялся внимательно прислушиваться.

– Думается, мы оказались поблизости от какой-то деревни, – сказал Франц фон Кронштейн. – В свисте бури я различаю собачий вой.

– То не собака, не собака! – сказал старик, поежившись, и пустил коня быстрее. – На многие мили вокруг нет ни единого человеческого жилья, помимо замка Клатка, который и в самом деле находится поблизости; но он уже сто лет как заброшен и, должно быть, там никто не жил с первых дней творения. Теперь

снова слышится вой, – продолжал он, – словно бы с самого начала я его не расслышал.

– Похоже, ты встревожен, старина Кумпан, – заметил кавалер, прислушиваясь к протяжному, полному ярости вою, что звучал теперь ближе; издалека, мнилось, кто-то отвечал.

– То воют не собаки, – с беспокойством ответил старый вожатый. – Это камышовые волки, и господам лучше было бы держать оружие наготове.

– Камышовые волки? О чем это ты? – удивленно спросил Франц.

– За лесом, – сказал Кумпан, – лежит озеро длиной примерно в милю; берега его заросли камышом. В тех камышах поселились волки. Они питаются птицами, рыбой и тому подобным. Летом они довольно робкие, и даже двенадцатилетний мальчишка может их напугать; но когда птицы улетают в теплые края, а рыбы замерзают во льду, они начинают рыскать по ночам и становятся опасны. Но хуже всего столкнуться с ними, когда беснуется Борей: ими точно овладевает сам дьявол, и они делаются такими дикими и яростными, что нападают и на людей, и на животных; бывали случаи, когда стаи их набрасывались на свирепых медведей этих гор и, мало того, одерживали победу.

С двух противоположных сторон вновь и более отчетливо послышался вой. Всадники начали в тревоге нащупывать пистолеты, а старик схватился за пику, висевшую у седла.

– Нужно держаться ближе к паланкину; волки совсем близко, – шепнул поводырь остальным. Всадники поворотили коней, окружили паланкин, и кавалер в нескольких успокаивающих словах разъяснил дамам причину такого маневра.

– Мы *все же* испытаем приключение – хоть что-то новенькое, – с сияющими глазами воскликнула Франциска.

– Как ты можешь говорить такие глупости? – в страхе спросила Берта.

– Неужто мужчины нас не защищают? Разве кузен Франц не на нашей стороне? – с издевкой обратилась к ней Франциска.

– Гляди, меж ветвями виднеется огонек, а вон еще один, – воскликнула Берта. – Где-то рядом должны быть люди.

– Нет, нет, – тотчас крикнул вожатый. – Закройте покрепче дверь, дамы. Господа, держитесь вместе: то горят волчьи глаза.

Всадники устремили взгляды в густой подлесок, где то и дело вспыхивали маленькие яркие искорки, какие летом можно было бы принять за светлячков; они имели похожий зелено-желтый оттенок, но мелькали не так суматошно и появлялись по двое. Кони начали тревожиться; они брыкались и кусали удила, однако мулы держались сравнительно спокойно.

– Я выстрелю в бестий, это научит их обходить нас стороной, – сказал Франц, указывая рукой на скопление огоньков.

– Погодите, погодите, господин барон! – испуганно вскричал Кумпан и схватил молодого человека за руку. – На эхо выстрела соберется целая стая, и тогда, ощущая себя в большинстве, они непременно нападут. Но держите оружие готовым к бою и, если из кустов выскочит старая волчица – такие всегда возглавляют их атаку – хорошенько прицельтесь и застрелите ее, ибо на колебания времени не останется.

К этому времени всадники едва справлялись с конями; страх охватил и мулов. Не успел Франц обернуться к паланкину, намереваясь то-то сказать кузине, как

из кустов выскочил зверь размером с большую гончую и вцепился в переднего мула.

– Стреляйте, барон! Волк! – закричал поводырь.

Молодой человек выстрелил, и волк грохнулся наземь. В лесу раздался устрашающий вой.

– Теперь вперед! Вперед, сейчас же! – закричал Кумпан. – У нас нет и пяти минут. Звери разорвут раненую товарку на куски и, если они очень голодны, частью съедят. Покамест мы успеем немного оторваться от них. До края леса не более часа езды. Видите – вон там, между деревьями, виднеются башни замка Клатка – там, где встает луна; дальше лес начинает редеть.

Путешественники помчались во всю мочь, но паланкин замедлял их бегство. Берта рыдала от ужаса, и даже Франциску оставило мужество – она сидела совершенно недвижно. Франц попытался приободрить их. Вскоре опять послышался вой; с каждой минутой он звучал все ближе и ближе.

– Снова волки, сейчас их больше, и они совсем рассвирепели, – с тревогой в голосе воскликнул вожатый.

Вновь среди деревьев показались огоньки – их и впрямь стало больше. Лес уже начал редеть, снежная буря утихла; лунное сияние высвечивало мелькавшие между деревьями туманные силуэты; волки держались скученно, точно стая гончих, и продолжали окружать путников, пока не оказались от них в двадцати шагах, преграждая путь кавалькаде. Время от времени где-то в середине стаи зарождалось свирепое завывание, вся стая подхватывала вой, и вдалеке ей отвечали одинокие волчьи голоса.

Путешественники очутились теперь в нескольких сотнях шагов от разрушенного замка, о котором рассказывал Кумпан. В свете луны замок показался им величественным строением. Рядом с хорошо сохранив-

шимся главным зданием виднелись развалины некогда прекрасной церкви, выстроенной на небольшом холме, усеянном росшими по отдельности дубами и кустарником. Над замком и церковью еще сохранились остатки кровель; от ворот замка к древнему дубу вилась тропинка, соединявшаяся под прямым углом с лесной тропой, где находились сейчас путники.

Старый поводырь, казалось, глубоко задумался.

– Мы в большой опасности, благородный господин, – сказал он. – Волки скоро нападут всей стаей. Тогда мы сможем спастись, только бросив мулов на произвол судьбы и посадив дам на коней.

– Возможно, и так, но у меня появился не в пример лучший план, – ответил кавалер. – Перед нами руины замка; мы, без сомнения, успеем добраться до них и после, заперев ворота, нам останется только дождаться рассвета.

– Здесь? В развалинах замка Клатка? – Все волки мира меня не заставят! – воскликнул старик. – Даже днем все боятся приближаться к этому месту, а уж сейчас, ночью! – У замка, господин кавалер, недобрая слава.

– Благодаря разбойникам? – спросил Франц.

– Нет; в замке обитает призрак.

– Полнейшая чепуха! – сказал барон. – Вперед, к развалинам; нельзя терять ни минуты.

Так и обстояло дело. Свирепые хищники находились уже в нескольких шагах от путешественников. По временам они отставали, издавая бешеный вой. Отряд поравнялся с вышеупомянутым старым дубом и собирался уже свернуть на тропинку, ведущую к руинам, когда волки, словно почувствовав, что вот-вот лишатся своей добычи, подобрались так близко, что их можно было бы поразить копьем. Кавалер и Франц торопливо оглядывались, пришпоривая коней посреди стаи

лязгавших зубами волков, и внезапно из густой тени под дубом вышел человек; в несколько шагов он оказался между путниками и их преследователями. В сумраке незнакомец показался путешественникам человеком высоким и хорошо сложенным; на боку у него висел в ножнах меч, голову украшала широкополая шляпа. Весь отряд был поражен его внезапным появлением, но еще больше изумило путешественников то, что последовало далее. Как только незнакомец выступил вперед, волки прекратили погоню, сбились в кучу и испуганно завыли. Затем незнакомец взмахнул рукой, после чего дикие хищники поползли назад в кусты, как стая побитых гончих.

Не удостоив ни единым взглядом путников, которые от удивления не могли вымолвить ни слова, незнакомец направился по тропинке к замку и вскоре исчез за воротами.

– Небеса, пощадите нас! – пробормотал себе в бороду старый Кумпан и перекрестился.

– Что это был за человек? – удивленно спросил кавалер, провожавший незнакомца взглядом, пока отряд снова не тронулся в путь.

Старый поводырь притворился, что не расслышал вопрос кавалера; подскакав к мулам, он принялся поправлять упряжь, пришедшую в беспорядок во время погони; миновало более четверти часа, прежде чем Кумпан присоединился к остальным.

– Тебе известен человек, встретивший нас у развалин; человек, которому мы обязаны чудесным спасением от четвероногих преследователей? – спросил вожатого Франц.

– Известен ли? Нет, благородный господин; я никогда не видел его раньше, – запинаясь, отвечал тот.

– Он напоминал солдата и был вооружен, – сказал барон. – Выходит, замок обитаем?

– Последние сто лет в замке никто не живет, – ответил проводник. – Он был разрушен, потому что бывший хозяин вступил в нечестивый сговор с турецко-славянскими ордами, дошедшими до этих мест. Правильнее сказать, – быстро поправился он, – о нем ходили такие *слухи*, и может статься, он был самым честным и верным человеком из всех, что когда-нибудь пробовали жареный в масле сыр*.

– Кто владеет нынче руинами и этими лесами? – поинтересовался рыцарь.

– Не кто иной, как вы, благородный господин, – ответил Кумпан. – Вот уже два часа мы едем по вашей земле, и скоро доберемся до края леса.

– Волков больше не видно и не слышно, – сказал барон после долгого молчания. – Даже вой и тот прекратился. Приключение с незнакомцем кажется мне необъяснимым, даже если мы предположим, что он охотник...

– О да, да, должно быть, он охотник, – поспешно прервал его Кумпан, опасливо оглядываясь по сторонам. – Храбрец, что так вовремя пришел к нам на помощь, конечно же, охотник. Ах, в наших местах так много бесстрашных охотников! Хвала небесам! – продолжал он со вздохом облегчения, – вот и край леса, и очень скоро мы будем в безопасности.

Так и случилось. Не прошло и часа, как отряд пересек тесно застроенную деревню, служившую центром имения, и приблизился к древнему замку, чьи окна были ярко освещены; у дверей стоял эконом с прочими слугами, которые с большим почтением встретили нового хозяина и препроводили путников в чудесно убранные комнаты.

Миновало четыре недели, прежде чем путешественники снова вспомнили о своих дорожных приключениях. Кавалер и Франц почти не бывали в замке:

они увлеченно изучали все подробности жизни громадного имения и пытались наладить хозяйство с помощью различных германских нововведений. Франциска на первых порах была очарована новым и неизвестным окружением. Все вокруг казалось ей таким романтичным, столь отличавшимся от ее немецкой родины; все это ее живо интересовало, и она часто сравнивала две страны, обычно не в пользу Германии. Берта держалась противоположного мнения: она подтрунивала над кузиной и говорила, что пристрастие Франциски к новизне и необычным впечатлениям, видимо, дошло до того, что та предпочитает жалкие хижины, где дым вместо каминной трубы выходит из окон и дверей и стены покрыты копотью, а также их не менее грязных и невоспитанных обитателей, удобным домам и вежливым жителям Германии. Но Франциска стояла на своем и отвечала, что в Австрии все кажется ей плоским, *скучным* и обыденным, и что местный неотесанный крестьянин, завернутый в шкуры, в десять раз любопытней, чем сдержанный австриец в воскресной одежде, при одном виде которого на нее нападает зевота.

Как только кавалер покончил с неотложными делами, приведя их в относительный порядок, путники стали больше времени проводить вместе. Франц продолжал оказывать своей кузине настойчивые знаки внимания, но последняя принимала их без всякой благодарности; кузен сделался жертвой ее насмешливого нрава, каковой она, привыкнув после долгого пути к новой обстановке, стала проявлять все чаще. Путешественники много ездили верхом в окрестностях замка, но все вокруг оставалось неизменным и вскоре конные прогулки перестали их развлекать.

Однажды все собрались в старинном зале; только что отобедав, путешественники обсуждали, в какую бы сторону им направиться.

– Я знаю! – вдруг воскликнула Франциска. – Как же нам раньше не пришло в голову осмотреть при свете дня место, где произошло наше приключение с волками и Таинственным Незнакомцем?

– Ты имеешь в виду развалины... как же они называются? – спросил кавалер.

– Замок Клатка, – весело вскричала Франциска. – Мы просто обязаны там побывать! Так очаровательно будет увидеть при свете дня, находясь в безопасности, эти руины, где мы испытали такой ужасный страх!

– Седлайте лошадей, – велел кавалер слуге, – и скажите эконому, пусть явится немедленно.

Последний, человек уже старый, вскоре появился.

– Мы собираемся посетить замок Клатка, – сказал кавалер. – По пути сюда у нас было там одно приключение...

– Мне рассказывал старый Кумпан, – вставил эконом.

– И что ты думаешь об этом? – продолжал кавалер.

– Не знаю, что тут и сказать, – отвечал старик, качая головой. – Когда я впервые попал в этот замок, мне было двадцать, а нынче волосы мои поседели; и верно, с тех пор миновало полвека. Сотни раз я оказывался по своей надобности у развалин, но ни разу не видел я Демона Клатки.

– Что ты сказал? Кого вы зовете Демоном? – спросила Франциска, чья любовь к приключениям и романтическим фантазиям вспыхнула с новой силой.

– Люди называют так призрака или духа, который обитает, по их словам, в тех развалинах, – ответил эконом. – Говорят, он появляется лишь в лунные ночи...

– Что вполне естественно, – улыбаясь, вмешался Франц. – Привидения не выносят света дня; а если бы не сияла луна, кто разглядел бы призрака? Мы ведь не станем предполагать, что кому-то вздумается ночью разгуливать по развалинам с факелом?

– Некоторые добропорядочные люди уверяют, что видели этого призрака, – продолжал эконом. – Охотники и лесорубы говорят, что встречали его у большого дуба на тропинке. Там, благородный господин, он чаще всего появляется, так как дерево было посажено в память человека, убитого на том самом месте.

– Кем был он? – с растущим любопытством спросила Франциска.

– То был последний владелец замка; сам замок в те времена служил приютом разбойников, и нечестивцы со всей округи собирались под его сводами, – ответил старик. – Говорят, тот рыцарь обладал нечеловеческой силой, и страшились его не только по причине вспыльчивого характера, но и союза с турецкими полчищами. Любую молодую женщину в округе, что имела несчастье ему понравиться, увозили к нему в башню, и после о ней никто уже ничего не слыхал. Когда грехи его превысили меру, люди восстали, осадили его крепость и наконец расправились с ним на том месте, где растет нынче дуб.

– Не понимаю, почему они не сожгли замок и не стерли самую память о нем, – заметил кавалер.

– Замок находился в подчинении у церкви, и это его спасло, – ответил эконом. – Ваш прадед позднее завладел им, поскольку к замку прилегали плодородные земли. Владетель Клатки был отпрыском знатного рода, и в церкви ему воздвигли памятник; но теперь церковь разрушена, как и сам замок.

– Ах, скорее в путь! – с воодушевлением проговорила Франциска. – Ничто не помешает мне посетить

такое загадочное место. Девицы в заточении, так и не вернувшиеся домой, штурм башни и гибель рыцаря, ночные прогулки призрака у старого дуба, наше приключение – все это наполняет меня неописуемым любопытством.

Когда слуга объявил, что лошади ждут у дверей, молодые дамы, смеясь, спустились по ступенькам на каретный двор. За ними последовали Франц, кавалер и один из слуг, хорошо знакомый с окрестностями; и через несколько минут кавалькада направилась к лесу.

Солнце стояло еще высоко в небе, когда они увидели над деревьями башни замка Клатка. Лес был неподвижен, слышалось лишь радостное щебетание птиц, которые сновали среди ветвей и распускающихся почек, воспевая явление весны.

Вскоре всадники очутились близ старого дуба у подножия холма, увенчанного башнями; и в разрушенном состоянии хранили они свое величие. Стены оплетал плющ и колючий кустарник; корни так глубоко проникли в щели между камнями, что скрепили их вместе, подобно строительному раствору. На самом верху чуть покачивался на ветру маленький куст с молодой, свежей листвой.

Господа помогли дамам спешиться; оставив лошадей под присмотром слуги, все стали подниматься по холму к замку. Здесь они осмотрели все уголки и закоулки и по настоянию Франциски, решившей во что бы то ни стало найти таинственного незнакомца, потратили немало времени на его поиски; затем осмотрели и соседнюю церковь. Время и стихии бережней обошлись с нею; неф был полностью разрушен, но над алтарной частью и самим алтарем сохранилась кровля; здесь же имелась небольшая часовня, видимо, служившая в свое время усыпальницей древнего рыцарского рода. Однако, от великолепных витражей,

украшавших когда-то окна, остались лишь осколки, и в часовне свободно гулял ветер.

Некоторое время путники разбирали надписи на могильных камнях и стенах часовни. Надгробные плиты повествовали о владетелях древности; на этих монументах были высечены фигуры мужчин в латах и женщин и детей всех возрастов. По углам плит располагались скульптурные изображения летящих воронов и другие рельефы. Одно надгробие, высившееся у входа в часовню, заметно отличалось от прочих: на плите отсутствовала резная фигура, а надпись, в противоположность лестным панегирикам на остальных гробницах, отличалась простотой и краткостью; она гласила: «Эззелин фон Клатка пал, как воин, во время штурма замка» – и далее указан был день, месяц и год.

– Стало быть, вот и памятник рыцарю, чей призрак, по рассказам, обитает в этих руинах, – воскликнула Франциска. – Как жаль, что здесь нет его изображения, как у других – мне так хотелось бы знать, как он выглядел!

– Я нашел фамильный склеп. К нему ведет лестница; внизу светло – солнце освещает склеп сквозь трещину, – сказал Франц, выходя из соседней ризницы.

Все последовали за ним; спустившись по восьми или девяти ступеням, они очутились в довольно просторном склепе, где были расставлены гробы всевозможных размеров; некоторые из них давно обратились в пыль. Но и здесь гроб, находившийся ближе к двери, отличался от остальных своей простотой, хорошей сохранностью и лаконичной надписью: «Ezzelinus de Klatka, Eques.»*.

Воздух в склепе лишен был миазмов разложения, и они провели там некоторое время, а затем, поднявшись по ступеням в церковь, долго еще обсуждали старинных владельцев замка; кавалер вспомнил те-

перь, как о них говаривали, бывало, его родители. Когда исследователи собрались наконец покинуть руины, солнце уже исчезло; на небе показалась луна. Берта, ступив в неф, издала удивленное и испуганное восклицание. Взгляд ее упал на человека в шляпе со свисающими перьями, с мечом на боку; на плечи его был наброшен короткий плащ старомодного покроя. Незнакомец непринужденно прислонился к разбитой колонне у входа; казалось, он ничего вокруг не замечал; в свете луны отчетливо вырисовывались его бледные черты.

Все четверо приблизились к незнакомцу.

– Если не ошибаюсь, – заговорил кавалер, – мы с вами когда-то встречались.

Неизвестный не проронил ни слова.

– Вы самым чудесным образом спасли нас от зубов этих ужасных волков, – сказала Франциска. – Верно ли я предполагаю, что именно вы оказали нам столь великую услугу?

– Звери боятся меня, – произнес незнакомец низким и свирепым голосом, устремив свои запавшие глаза на девушку и словно не видя остальных.

– Смею полагать, что в таком случае вы – охотник и объявили войну этим кровожадным бестиям, – сказал Франц.

– Кто из нас не преследователь или не преследуем? – ответил незнакомец, не глядя на него. – Да, каждый из нас преследует или испытывает преследования, судьба же преследует всех.

– Вы живете в этих развалинах? – помедлив, спросил кавалер.

– О да; но не ради истребления вашей дичи, как вы, вероятно, опасаетесь, кавалер фон Фаненберг, – презрительно сказал незнакомец. – В этом вы можете не сомневаться; собственность ваша пребудет в целости...

– Ах! Отец вовсе не это имел в виду, – вмешалась Франциска, проявлявшая к незнакомцу живейший интерес. – Прискорбное стечение обстоятельств и печальные повороты судьбы, как видно, заставили вас искать пристанище в этих руинах, и отец мой отнюдь не намерен лишать вас крова.

– Отец ваш очень добр, если речь об этом, – прежним тоном проговорил незнакомец, и его сумрачные черты сложились в подобие еле заметной улыбки, – однако людей, подобных мне, изгнать нелегко.

– Жизнь в развалинах должна доставлять вам множество неудобств, – слегка раздосадовано заметила Франциска: она ожидала более благовоспитанного ответа на свою вежливую речь.

– Я не назвал бы жилище мое неудобным; оно всего лишь тесновато и все же вполне подходит человеку тихого нрава, – с гримасой отвечал неизвестный. – Не всегда, впрочем, я таков; порой меня охватывает желание покинуть замкнутые пределы, и тогда я мчусь по лесам и полям, по холмам и долам; и всегда слишком рано наступает час, когда мне приходится возвращаться в тесное убежище.

– Поскольку вы время от времени его покидаете, – сказал кавалер, – я хотел бы пригласить вас посетить нас, если только...

– Если только я в состоянии буду принять ваше приглашение, – прервал незнакомец, и кавалер вздрогнул, ибо тот со всей точностью высказал его собственную, едва сложившуюся мысль. – К сожалению, – холодно продолжал он, – я не могу сейчас поведать вам обо всем, однако имеются некоторые трудности; но можете не сомневаться, что я происхожу из рыцарского рода, по меньшей мере такого же древнего, как ваш.

– Тогда вы не должны отказываться от нашего приглашения, – воскликнула Франциска, весьма заинтри-

гованная необычными манерами собеседника. – Вы обязательно должны навестить нас.

– Я не слишком люблю веселиться, и поэтому мало кто в последнее время приглашал меня, – ответил незнакомец со своей странной улыбкой. – Кроме того, днем я обыкновенно остаюсь дома; в это время я отдыхаю. Я принадлежу, видите ли, к тем людям, что превращают день в ночь и ночь в день и питают пристрастие ко всему удивительному и необычайному.

– В самом деле? Я тоже! Именно по этой причине вы непременно должны навестить нас, – вскричала Франциска. – Полагаю, – улыбаясь, продолжала она, – вы только что встали и совершаете утреннюю прогулку. И поскольку луна заменяет вам солнце, просим вас посетить наш замок в лучах этого светила. Для нас, думаю, это не составит трудности, и было бы очень мило познакомиться с вами поближе.

– Вы желаете этого? – Вы настаиваете на своем приглашении? – спросил незнакомец самым искренним и решительным тоном.

– Безусловно, иначе вы так и не появитесь, – тотчас ответила молодая дама.

– Что ж, я приду! – сказал неизвестный, вновь обращая на нее свой взгляд. – Если же мое общество станет вам в тягость, вам придется винить лишь себя за знакомство с тем, кто редко навязывается, но от кого нелегко избавиться.

Проговорив эти слова, незнакомец сделал легкое движение рукой, словно прощаясь с ними и, переступив порог, исчез среди руин. Остальные вскоре сели на лошадей и направились к поместью.

На следующий вечер все снова собрались в зале. Берта в тот день получила добрые вести. Кавалер Войслав сообщил ей из Венгрии, что до конца года война с турками завершится и что он, хотя и собирался воз-

вратиться в Силезию, прослышал о том, что кавалер фон Фаненберг вступил во владение своим новым имением и решил последовать за его семьей в Карпаты, не сомневаясь, что Берта сопровождает свою подругу. Он намекнул, что герцог весьма доволен его усердной службой и что в будущем его ожидает еще более важный и широкий круг обязанностей; но прежде, чем приступить к их исполнению, он мечтает обвенчаться с Бертой, поскольку та дала согласие стать его женой. Благодаря милостям своего господина и захваченным у турок трофеям он весьма обогатился. Потеряв на службе у герцога правую руку, он пытался было сражаться левой; но в этом он не преуспел, и потому искусный мастер изготовил для него железную руку. Этой рукой он мог выполнять многое из того, что способен был делать природной конечностью, но все же она была далека от совершенства; теперь же, однако, герцог преподнес ему руку из золота, изготовленную знаменитым итальянским механиком. Кавалер Войслав описывал ее как нечто чудесное, упоминая в особенности нечеловеческую силу, с какой золотая рука могла орудовать мечом и копьем. Франциска искренне радовалась счастью подруги, которая давно уже не получала вестей от нареченного. Частью издеваясь над Францем, частью же выражая собственные чувства, она то и дело принималась расхваливать Войслава и выражать глубочайшее восхищение храбростью и решительностью кавалера, чью отвагу и любовь к приключениям она превозносила до небес. Даже шрам на лице и отсутствие руки становились в ее устах добродетелями; и наконец Франциска дерзко заявила, что человек уродливый ей бесконечно милей привлекательного, ибо обладающие миловидной внешностью мужчины, как правило, бывают самодовольны и изнежены. Никто, добавила она, не назвал бы да-

вешнего обитателя развалин красавцем, но он несомненно был притягателен и возбуждал интерес к себе. Франц и Берта в один голос отвергли ее утверждение. Берта в ответ перечислила мрачный вид, мертвенную бледность и неприязненный тон незнакомца, в то время как Франц упомянул о высокомерии и презрении, сквозивших в его речах. Кавалер не соглашался ни с одной из партий. Он считал, что манеры незнакомца свидетельствовали о его благородном происхождении, однако вежливость оставляла желать лучшего; в то же время, неизвестный, должно быть, пережил немало испытаний и потому превратился в мизантропа. Пока они так беседовали, распахнулась дверь, и в зал внезапно вошел человек, которого они обсуждали.

– Простите меня, господин кавалер, – холодно сказал он, – я пришел хоть и по приглашению, но о прибытии моем не доложили; в прихожей не оказалось никого, кто смог бы оказать мне такую услугу.

В ярко освещенном зале они наконец хорошенько разглядели незнакомца. То был человек лет сорока, высокий и крайне худой. Его черты нельзя было назвать заурядными – на них лежал отпечаток отваги и мужества; но выражение лица никак не отражало доброжелательность. В холодных серых глазах светились презрение и сарказм, причем взгляд их был так пронзителен, что никто не мог длительное время его выдерживать. Цвет лица был еще более странен: его трудно было бы назвать бледным или желтоватым; кожа незнакомца отливала серостью или, так сказать, землистой белизной, словно у индийца, долго страдавшего от лихорадки; цвет ее еще более оттеняла глубокая чернота бороды и коротко остриженных волос. На неизвестном была благородная, но старомодная и изношенная одежда; на воротнике и нагрудной пластине

кольчуги заметны были большие пятна ржавчины; его кинжал и рукоять прекрасного меча были кое-где тронуты плесенью. Поскольку все собирались ужинать, было только естественно пригласить незнакомца присоединиться к ним; он согласился, точнее же, уселся за стол, но так и не отведал ни крошки. Кавалер с некоторым удивлением спросил его о причине этого воздержания.

– Я давно уже привык ничего не есть по ночам, – отвечал тот со странной улыбкой. – Мой желудок не переваривает плотную пищу и редко имеет с нею дело. Я потребляю только жидкости.

– В таком случае, мы можем выпить по бокалу рейнвейна, – воскликнул хозяин.

– Благодарю вас; но я не пью ни вина, ни охлажденных напитков, – с явной издевкой отвечал незнакомец. Казалось, эта мысль чем-то забавляла его.

– Тогда я велю подать вам чашу гиппокраса – это теплый напиток на травах. Его приготовят немедля, – сказала Франциска.

– Примите мою благодарность, милая дама, – отвеветил он, – но не сегодня. Если, однако, я откажусь от напитка, что вы предлагаете мне теперь, будьте уверены, что как только – может быть, очень скоро – он мне понадобится, я попрошу у вас это или какое-либо иное питье.

Берте и Францу казалось, что в госте их было нечто невыразимо отталкивающее, и они не желали занимать его разговором; однако барон, считая, что вежливость обязывает его что-либо сказать, повернулся к гостю и дружески произнес:

– Прошла уже не одна неделя с тех пор, как мы с вами познакомились; мы должны поблагодарить вас за доблестно оказанную нам услугу...

– Я же не назвал своего имени, хотя вы хотели бы его узнать, – сухо прервал его незнакомец. – Зовут меня Аззо; и поскольку, – со знакомой иронической улыбкой подчеркнул он, – с разрешения кавалера Фаненберга, я живу в замке Клатка, вы можете в дальнейшем называть меня Аззо фон Клатка.

– Но не чувствуете ли вы себя одиноким и покинутым в этих древних стенах? – начала Берта. – Я никак не пойму...

– Отчего я остаюсь в замке? О, об этом я с радостью вам поведаю, раз уж вы и молодой господин проявляете такой интерес к моей персоне, – саркастически произнес незнакомец.

Франц и Берта застыли в изумлении: неизвестный высказал вслух их мысли, будто мог свободно читать в их душах.

– Видите ли, любезная дама, – продолжал он, – в мире существует немало удивительного. Как я уже говорил, меня влечет все то, что может, по крайней мере вам, показаться странным и необычайным. Но поражаться чему бы то ни было в корне неверно, ибо, в определенном свете, все вещи схожи; и даже жизнь и смерть, эта и та сторона могилы, напоминают друг друга более, чем вы способны себе представить. Возможно, вы считаете, что я помешался, поскольку делю свой кров с летучими мышами и совами; но если так, отчего бы не счесть всякого отшельника и затворника безумцем? Вы скажете, что то – люди святые. Я от святости, конечно же, далек; им приятны молитвы и пение псалмов, я развлекаюсь охотой. Невозможно описать, как упоительно мчаться в лунном свете, верхом на коне, что никогда не устает, по холмам и долам, по лесам и пустошам! Я скачу среди волков, которые разбегаются при моем появлении, как вы и

сами могли видеть, подобно щенкам, испугавшимся плети.

– Но вам должно быть очень, очень одиноко, – заметила Берта.

– Днем так и бывает, но днем я сплю, – холодно ответил незнакомец, – а по ночам мне достаточно весело.

– У вас необычный способ охоты, – нерешительно вставил Франц.

– Так и есть; но с разбойниками я не веду никаких сношений, – спокойно отвечал Аззо.

Франц смешался – эта мысль только что пришла ему на ум.

– Ах, прошу прощения; я не знаю… – пробормотал он.

– Как истолковать мои слова? – прервал тот. – Что же, придется вам поверить тому, что я вам рассказываю либо, по крайней мере, избегать умозаключений, которые ни к чему вас не приведут.

– Я вас понимаю: мне близки ваши мысли, пусть всем остальным они и чужды, – с чувством воскликнула Франциска. – Суета повседневной жизни большей части человечества вас отвращает; вы пресытились так называемыми радостями и увеселениями жизни, и они кажутся вам пресными и пустыми. Как быстро надоедает все, что видишь вокруг! Жизнь – в изменчивости. Только в новом, необычайном и странном распускаются благоуханные цветы духа. И даже боль может стать наслаждением, если она освобождает нас от плоской монотонности повседневной жизни, которую я до гроба не перестану ненавидеть.

– Верно, милая дама – справедливо сказано! Не изменяйте себе: я всегда был в том убежден, что принесло мне высочайшую награду, – вскричал Аззо, и его свирепый взор засверкал ярче обычного. – Я вдвойне

счастлив, найдя в вас человека, что разделяет мои мысли. Будь вы мужчиной, вы стали бы мне отличным товарищем; но даже женщина может испытать немало чудесного, когда подобные мысли укоренятся в ней и призовут ее к действию!

Аззо произнес эти слова холодным и учтивым тоном и сразу сменил тему беседы; после этого он ограничивался односложными ответами на вопросы кавалера и распрощался, когда со стола еще не успели убрать. На приглашение кавалера повторить визит, поддержанное настойчивыми уговорами Франциски, он отвечал, что не преминет воспользоваться добротой хозяев и в свое время навестит их снова.

Стоило незнакомцу уйти, как его внешность и манеры стали предметом живейшего обсуждения. Францу гость решительно не понравился. Но Франциска – то ли, по обыкновению, издеваясь над кузеном, то ли потому, что Аззо действительно произвел на нее впечатление – твердо отстаивала свое мнение. Франц возражал ей с необычной горячностью, и юная дама высказывала все более колкие замечания; кто знает, какими неприятными словами наградила бы она кузена, если бы в зал не вошел слуга.

На следующее утро Франциска долго не вставала с постели. Опасаясь, что она захворала, подруга зашла к ней в спальню и нашла ее бледной и изможденной. Франциска пожаловалась, что провела беспокойную ночь; должно быть, спор с Францем лишил ее покоя, так она чувствовала себя больной и усталой; ее также обеспокоил странный сон, который стал, очевидно, следствием вечернего разговора. Берта, как всегда, стала на сторону молодого человека и добавила, что заурядный спор о человеке, которого никто не знал и о котором каждый вправе был иметь свое мнение, никак не мог вызвать у Франциски подобное состояние.

– По крайней мере, – продолжала она, – расскажи мне об этом чудесном сне.

К ее удивлению, Франциска упорно отказывалась делиться своим секретом.

– Прошу, расскажи мне, – не отставала Берта. – Что мешает тебе рассказать сон – всего только сон? Мне начинает казаться, хоть эта мысль и слишком ужасна, что бедный Франц недалек от истины, утверждая, будто наш тощий, похожий на труп, высохший, старомодный незнакомец произвел на тебя известное впечатление, в чем ты не готова признаться.

– Франц так и сказал? – спросила Франциска. – Что ж, можешь передать ему, что он не ошибся. Да, этот тощий, похожий на труп, высохший и загадочный незнакомец интересует меня гораздо больше, чем розовощекий, хорошо одетый, вежливый и скучный кузен.

– Как странно! – воскликнула Берта. – Ничем не могу объяснить, почему этот человек оказывает на тебя едва ли не магическое влияние, тогда как мне видится таким отвратительным.

– Возможно, я поддержала его потому, что все вы предубеждены против него, – с обидой в голосе сказала Франциска. – Да, должно быть, это так; ибо никто, находясь в здравом уме, не станет говорить, что вид его мне приятен. И все же, – продолжала она, улыбаясь и протягивая Берте руку, – не смешно ли, что даже в разговоре с тобой, когда речь зашла об этом незнакомце, я вышла из себя – такое прежде могло случиться лишь с Францем – и что этот неизвестный испортил мне утро, как уже погубил вчерашний вечер и ночной отдых?

– Ты говоришь о том сне? – спросила Берта, которую оказалось нетрудно успокоить; она обвила руками шею Франциски и поцеловала кузину. – Теперь

расскажи мне свой сон. Ты ведь знаешь, как я люблю такие рассказы.

– Я расскажу, не сомневайся, и пусть это станет своего рода вознаграждением за то, что обидела тебя, – сказала Франциска, сжимая руки подруги. – Слушай же! Я долго ходила взад и вперед по комнате; я была возбуждена, подавлена – в точности не могу сказать. Близилась полночь, когда я легла, но заснуть не смогла. Я ворочалась и в конце концов задремала от усталости. Но что это был за сон! Я ощущала постоянный, глубокий страх. Передо мной мелькали картины, как бывало в детстве, когда я болела. Затем мне приснилось, но с полной ясностью, будто я и не спала, что комнату словно заволокло туманом и из тумана выступил кавалер Аззо. Он некоторое время смотрел на меня, затем медленно опустился на одно колено и запечатлел поцелуй на моей шее. Губы его долго прижимались к моей шее; я испытала болезненное ощущение, причем боль все усиливалась и наконец стала невыносима. Изо всех сил я пыталась отогнать от себя это видение, что удалось мне лишь после долгих стараний. Сомнений нет, я вскрикнула, и это пробудило меня от экстаза. Когда я немного пришла в себя, то почувствовала, как меня охватывает суеверный страх – насколько он был велик, ты сможешь представить, когда я скажу тебе, что мне привиделся Аззо: он стоял у моей постели и затем, постепенно растворяясь в тумане, исчез в дверном проеме!

– Тебе, должно быть, приснился кошмар, бедняжка, – начала было Берта и вдруг смолкла. Она удивленно поглядела на шею Франциски. – Что это? – воскликнула она. – Только погляди – просто невероятно: у тебя на шее красноватое пятно!

Франциска вскочила с постели и подошла к небольшому зеркалу, стоявшему у окна. Она и впрямь раз-

глядела на своей шее красную полоску длиной с дюйм, которая отозвалась уколом боли, когда она прикоснулась к ней пальцем.

– Не иначе, я каким-то образом оцарапала себя во сне, – сказала она, помолчав, – и это, в известной степени, может объяснить мой кошмар.

Подруги еще некоторое время продолжали обсуждать невероятное совпадение; и наконец Берта обратила все страхи в шутку.

Миновало несколько недель. Кавалер уяснил, что имение находится в большем беспорядке, чем представлялось ему на первых порах; и теперь вместо того, чтобы остаться на три или четыре недели, как было изначально задумано, отъезд пришлось отложить на неопределенный срок. Отсрочка была вызвана и недугом Франциски. Она, чья юная и свежая красота цвела прежде, подобно розе, нынче с каждым днем худела и выглядела все более нездоровой и истощенной; в то же время, она сделалась так бледна, что на протяжении месяца ни единое пятнышко румянца не окрашивало ее некогда прелестные щеки. Состояние ее чрезвычайно тревожило кавалера; он советовался с лучшими врачевателями тех времен и мест, но все было напрасно. По временам Франциска жаловалась, что вновь видела сон, с которого началась ее болезнь, и на следующий день она неизменно чувствовала изнурительную и необъяснимую слабость. Берта, как можно догадаться, приписывала ее недуг влиянию лихорадки, но воздействие болезни на обычно ясное сознание подруги наполняло ее глубоким беспокойством.

В имение зачастил с визитами кавалер Аззо. Он всегда являлся вечером, когда на небе ярко сияла луна. Вел он себя по-прежнему: произносил лишь односложные слова, с кавалером обращался с холодной учтивостью, к Францу и Берте, в особенности к первому,

проявлял презрительное высокомерие; но с Франциской он был само радушие. Нередко после того, как Аззо завершал свой недолгий визит и покидал дом, разговор вновь заходил о его странностях. Помимо необычной манеры вести беседу, за которой, по мнению Берты, скрывалась неизбывная ненависть и холодное презрение ко всему человечеству, исключая Франциску, в нем заметны были и другие загадочные черты. Ни разу, например, часто оказываясь за ужином вместе с другими, он не притронулся ни к еде, ни к питью, и никогда не объяснял причину своего воздержания. Вдобавок, в нем произошли разительные перемены; теперь он казался совсем другим человеком. Кожа, ранее сморщенная и растянутая, стала теперь гладкой и нежной, щеки округлились, и на них появилась легкая тень румянца. Берта, которая не могла скрыть свою недоброжелательность по отношению к нему, нередко замечала, что если раньше мерзкая физиономия его напоминала скорее череп, нежели человеческое обличие, теперь он сделался положительно отвратен; кровь застывала у нее в жилах, когда он обращал на нее свой пронзительный взгляд. Было ли поводом расположение Франциски к кавалеру Аззо, презрительные ответы последнего на вопросы Франца или же высокомерный его нрав, но только молодой человек с каждым днем все сильнее его ненавидел. Не составляло труда заметить, что когда Франц в присутствии Аззо обращался к кузине, тот немедля выставлял его слова в дурном свете или старался придать им искаженный смысл. Подобное случалось все чаще и наконец Франц заявил Берте, что отныне не станет мириться с такими оскорблениями и что лишь во имя спокойствия Франциски он еще не вызвал кавалера Аззо на поединок.

В те дни к обитателям замка присоединился гость, которого так долго ждала Берта. Однажды вечером он вошел в зал, когда они сели ужинать; все вскочили на ноги, приветствуя старого друга. Кавалер Войслав являл собой истинный образчик воина, закаленного в сражениях с врагами и стихиями. Лицо его нельзя было бы назвать уродливым, если бы не турецкая сабля, которая оставила красный шрам, тянувшийся через все лицо от правого глаза к левой щеке и ярко выделявшийся на обожженной солнцем коже. Телосложением кастелян Глогау обладал почти гигантским. Мало кто сумел бы поднять его доспехи, не говоря уж о том, чтобы с ловкостью и быстротой передвигаться под их тяжестью. Сам он весьма ценил эти доспехи, ибо их подарил ему при отъезде из лагеря пфальцграф Венгрии. Голубоватая кованая сталь была изукрашена золотыми узорами; в честь невесты Войслав надел латы, равно как и золотую руку, подарок графа.

Кавалер и Франц принялись расспрашивать гостя о ходе кампании; тот с удовольствием излагал мельчайшие подробности битв, каковые в рассуждении трофеев увенчались небывалым доселе успехом. Он рассказывал, как сильны турки в рукопашной схватке, добавив, что многим обязан графу, так как благодаря его чудесному подарку многие враги считали, что кавалер наделен сверхъестественной силой. Болезненный вид и смертельная бледность Франциски так и бросались в глаза; не ускользнули они и от Войслава; привыкший видеть ее цветущей и радостной, он тотчас осведомился о причине таких перемен. Берта рассказала ему обо всем, что случилось, и он выслушал ее с большим вниманием. Его любопытство донельзя усилилось, когда он услышал о часто повторявшемся сне; Берте пришлось изложить мельчайшие детали этого сна; казалось, он сталкивался ранее с подобным

случаем или, по меньшей мере, слыхал о нем. Когда молодая дама добавила, что ранка на шее Франциски, появившаяся в первый день, примечательным образом так и не зажила и все еще причиняла ей боль, кавалер Войслав посмотрел на Берту так, будто хотел ей что-то сказать, но промолчал; слова Берты укрепили его в мысли о том, какова была настоящая причина болезни Франциски.

Разговор, вполне естественно, перешел далее на кавалера Аззо, и все принялись оживленно его обсуждать. Узнав все частности болезни Франциски, Войслав принялся теперь подробно расспрашивать хозяев о незнакомце, начиная с первого его появления и заканчивая последним визитом, однако не спешил высказывать свое мнение. Все были погружены в беседу, когда дверь распахнулась и на пороге появился Аззо. Войслав не сводил с него глаз, а тот, словно не замечая нового гостя, подошел к столу, уселся и завел разговор, обращаясь по преимуществу к Франциске и ее отцу и время от времени вставляя саркастические ремарки в ответ на высказывания Франца. Вновь заговорили о турецкой войне; и хотя Аззо ограничивался краткими замечаниями, кавалеру Войславу было что рассказать. Он занимал всех своими историями до поздней ночи, и наконец Франц, обернувшись к Войславу, произнес:

– Не удивлюсь, если и день застанет нас за рассказами о ваших увлекательных приключениях.

– Молодой господин обладает завидным вкусом, – сказал Аззо, иронически кривя губы. – Повествования о бурях и кораблекрушениях и впрямь лучше всего слушать на *terra firma**, а рассказы о битвах и смерти – за гостеприимным столом или же сидя у камина. Слушателю становится так приятно, что он сохранил

свою шкуру в целости и не подвергается никакой опасности – даже схватить насморк.

С этими словами он хрипло рассмеялся, повернулся к Францу спиной, поклонился всем остальным и вышел прочь. Кавалер Фаненберг, всегда провожавший Аззо к двери, на сей раз сослался на усталость и пожелал друзьям спокойной ночи.

– Наглость этого Аззо превосходит все границы, – вскричала Берта, когда гость ушел. – С каждым днем он становится все более грубым, невежливым и высокомерным. Один лишь сон Франциски, пусть он в том и не виноват, заставляет меня ненавидеть его. А этим вечером он не сказал никому, помимо Франциски, ни единого доброго слова, за исключением, быть может, нескольких замечаний, обращенных к дяде.

– Не стану отрицать твою правоту, Берта, – заметила ее кузина. – Многое можно простить человеку, которого судьба, возможно, сделала мизантропом; однако нельзя нарушать правила обычной учтивости. Но куда подевался Франц? – спросила вдруг Франциска, беспокойно оглядываясь по сторонам.

Молодой человек, как оказалось, незаметно выскользнул из комнаты, пока Берта и Франциска были заняты разговором.

– Надеюсь, он не последовал за кавалером Аззо, чтобы вызвать его! – с тревогой воскликнула Берта.

– Уж лучше ему войти в клетку ко льву и потрепать зверя за гриву, – резко произнес Войслав. – Я должен незамедлительно последовать за ним, – добавил он и выбежал из зала.

Ему пришлось выйти из замка, спешно пересечь двор и миновать ворота, прежде чем он настиг Аззо и Франца. Они стояли на мостике с невысокой балюстрадой, переброшенном через замковый ров. Франц, похоже, только что обратился к Аззо с запальчивой ре-

чью, поскольку Войслав, скрывавшийся в тени стены и не замеченный ни тем, ни другим, услышал, как Аззо мрачно произнес:

– Оставь меня, глупый юнец – оставь меня; клянусь солнцем, – и он указал на полную луну, сиявшую в небе над их головами, – что ты не увидишь более этих лучей, если еще на миг задержишься у меня на пути.

– Знай же, негодяй, что я не готов сносить твою бесконечную надменность; ты либо дашь мне удовлетворение, либо умрешь, – вскричал Франц, обнажая меч.

Аззо протянул руку, сжал лезвие меча посередине и переломил его, как сухую тростинку.

– Предупреждаю тебя в последний раз, – вскричал он громоподобным голосом, швыряя обломки меча в ров. – Отойди – уступи мне дорогу, юнец, иначе, клянусь теми, что под нами, ты погиб!

– Ты или я! ты или я! – воскликнул обезумевший Франц, рванулся к мечу противника и попытался выхватить его.

Аззо ничего не ответил, лишь горький смех сорвался с его губ; вцепившись в грудь Франца, кавалер поднял его, точно младенца, и намеревался уже сбросить барона с моста, когда Войслав очутился рядом. Схватив Аззо за руку своей чудесной золотой рукой, в чьи пружины он вложил всю свою силу, Войслав пригнул руку противника книзу, заставив того выпустить жертву. Аззо, казалось, был поражен до глубины души; не обращая более внимания на Франца, он с удивлением глядел на Войслава.

– Кто ты, осмелившийся лишить меня добычи? – спросил он с некоторым колебанием. – Возможно ли? Неужто ты...

– Не спрашивай, кровопийца! Ступай, ищи себе пропитание! Скоро твой час настанет! – спокойно, но твердо отвечал Войслав.

– Ха! теперь мне все понятно! – живо воскликнул Аззо. – Приветствую, брат по крови! Отдаю тебе этого червяка; ради тебя, так и быть, я не раздавлю его. Прощай; вскоре пути наши пересекутся снова.

– Скоро, очень скоро; прощай! – воскликнул Войслав, привлекая к себе Франца.

Аззо бросился вперед и исчез во тьме.

Франц некоторое время находился в полуоглушенном состоянии, но вдруг зашевелился, словно просыпаясь ото сна.

– Я опозорен, опозорен навеки! – воскликнул он, уткнувшись лбом в сжатые кулаки.

– Успокойся; одолеть его ты не смог бы, – сказал Войслав.

– Я одержу победу или умру! – возразил Франц. – Я разыщу этого проходимца в его логове и тогда один из нас падет, он или я.

– Ты не сумеешь даже нанести ему рану, – сказал Войслав, – и неизбежно погибнешь.

– Тогда расскажите мне, как свершить суд над этим негодяем, – закричал Франц со слезами отчаяния на глазах, хватая Войслава за руки. – На меня пал позор, и я не в силах больше жить.

– Ты будешь отмщен, и в течение суток, надеюсь; но только лишь при двух условиях...

– Я согласен! Я готов на все, – воодушевленно начал юноша.

– Первое заключается в том, что ты ничего не станешь предпринимать и оставишь дело в моих руках, – прервал его Войслав. – Второе: ты поможешь мне убедить Франциску выполнить то, что я представлю ей как высочайшую необходимость. Аззо подвергает жизнь молодой дамы опасности гораздо большей, чем грозит тебе.

– Как? Что? – в ярости вскричал Франц. – Жизнь Франциски в опасности! и по вине этого человека? Умоляю, скажите мне, Войслав, кто этот дьявол?

– Я ни слова не скажу ни тебе, ни юной даме, пока опасность не минует, – решительно ответил Войслав. – Малейшая оплошность – и все пропало. Никто не в силах нам помочь, кроме самой Франциски, и если она откажется, погибнет безвозвратно.

– Говорите же, и я помогу вам. Я сделаю все, что вы скажете, но я должен знать...

– Ни слова более! – ответил Войслав. – И ты, и Франциска обязаны полностью мне подчиниться. Пойдем, ступай теперь к ней. Ты ни слова не скажешь о том, что здесь случилось, и постараешься убедить ее последовать моему совету.

Войслав говорил с такой твердостью, что Франц не решился возражать; через несколько минут оба вернулись в зал, где их с нетерпением ждали молодые девушки.

– Ах, я так испугалась, – сказала Франциска, выглядевшая бледнее обычного, и протянула Францу руку. – Полагаю, закончилось все мирно.

– Весьма; хватило и нескольких слов, и недоразумение было улажено, – с довольным видом подтвердил Войслав. – Но молодой господин Франц тревожился не столько за себя, сколько за вас, юная дама.

– За меня! Что вы хотите сказать? – удивленно спросила Франциска.

– Я имел в виду вашу болезнь, – ответил Войслав.

– И вы говорили об этом с Аззо? Известно ли ему лекарство, о каком он не поведал мне сам? – спросила она с натянутой улыбкой.

– Кавалер Аззо должен принять участие в вашем излечении; но рассказать вам о том он не может, ина-

че лекарство утратит свои целебные свойства, – тихо отвечал Войслав.

– Какой-то таинственный эликсир наподобие тех, которыми поили меня доктора, что пытались меня лечить? Их заботами мне лишь становится хуже, – с горечью заметила Франциска.

– Несомненно, лечение это тайное – и, без сомнения, действенное, – ответил Войслав.

– Так утверждали все, но ни один не имел успеха, – возразила молодая дама, состроив кислую мину.

– Тебе нужно хотя бы попробовать... – начала Берта.

– Раз уж твой сердечный друг предлагает, – улыбаясь, сказала Франциска. – Не сомневаюсь, что ты, даже не будучи больна, готова была бы принимать всевозможные лекарства, только бы порадовать своего рыцаря; но у меня нет такой побудительной причины, и потому отсутствует и вера в исцеление.

– Я говорил не о снадобье, – сказал Войслав.

– Ах! магическое средство! Не иначе, я буду излечена – как же выразился тот шарлатан, что был здесь вчера? – «путем симпатического воздействия». Да, именно так он и сказал.

– Можете называть мое средство магическим, если хотите, – с улыбкой отозвался Войслав, – но знайте, дорогая, что способ лечения, который я предлагаю, должен соблюдаться буквально, в согласии со строжайшими правилами.

– И вы мне в этом доверяете? – спросила Франциска.

– Целиком и полностью, – помедлив, сказал Войслав, – однако...

– Почему же вы не продолжаете? Неужто считаете, что мужество мне изменит? – спросила она.

– Храбрость, спору нет, необходима для успеха нашего начинания, – внушительно произнес Войслав. – Предполагая, что вы наделены ею в избытке, я и собираюсь предложить вам свой способ лечения; ничто, клянусь жизнью, не причинит вам вреда, если только вы будете в точности следовать моим указаниям.

– Тогда расскажите мне, что вы задумали, и я приму решение, – сказала молодая дама.

– Я смогу рассказать об этом лишь тогда, когда мы приступим к исполнению задуманного, – ответил Войслав.

– Вы считаете, что я дитя, которое можно заставлять делать то, и другое, и третье, не объясняя причины? – спросила Франциска с ноткой былой игривости в голосе.

– Вы очень несправедливы ко мне, юная дама, если хоть на мгновение могли заподозрить, что я предложу вам нечто малоприятное, не будучи подвигнут на это самой насущной необходимостью, – сказал Войслав. – Тем не менее, могу лишь вновь повторить свои слова.

– Ну что ж, тогда я отказываюсь, – воскликнула Франциска. – Я уже все перепробовала – и без всякой пользы.

– О, умоляю тебя, соглашайся, Франциска. Наш друг не станет предлагать бесполезные меры, – сказала Берта, завладевая руками кузины.

– Позвольте и мне присоединиться к увещеваниям Берты, – сказал Франц.

– Какие вы все странные! – вскричала Франциска, покачивая головой, – вы делаете такую тайну из того, что мне в любом случае требуется знать – ведь иначе я не могу это сделать; и вы говорите, что я непременно поправлюсь, хотя собственные чувства убеждают меня в обратном.

– Повторю, что я ручаюсь в благоприятном исходе, – сказал Войслав, – если будут выполнены те условия, о которых я говорил ранее, и у вас достанет храбрости завершить начатое.

– Ха! теперь понимаю: похоже, это единственное, в чем вы сомневаетесь, – воскликнула Франциска. – Я покажу вам, что у женщин хватает воли и сил на свершение отважных поступков; даю вам свое согласие.

С этими словами она протянула Войславу руку.

– Наш уговор скреплен, – продолжала она, улыбаясь. – Скажите же, любезный рыцарь, как приступить мне к таинственному излечению?

– Оно началось в тот миг, когда вы дали свое согласие, – серьезным тоном отвечал Войслав. – Теперь попрошу только не задавать больше вопросов; будьте готовы совершить вместе со мной верховую прогулку завтрашним вечером, за час до заката. Я также просил бы вас ни слова не говорить отцу о нашем договоре.

– Как странно! – сказала Франциска.

– Договор заключен, и вы полны решимости; за все остальное в ответе я, – успокаивающе произнес Войслав.

– Что ж. Пусть будет так. Я последую вашим наставлениям, – ответила молодая дама, хотя на лице ее было написано сомнение.

– По возвращении вы узнаете все; а сейчас наберитесь терпения, – сказал в заключение Войслав. – Ступайте и отдохните, дорогая; завтра вам понадобятся силы.

Настало утро следующего дня; солнце лишь час как встало, и большие капли росы, словно расшитая жемчугами вуаль, устилали траву и соскальзывали с цветочных лепестков, покачивавшихся на утреннем ветерке, когда кавалер Войслав поспешил через поля в

лес и здесь свернул на сумрачную тропинку, что вела, как он догадался, к башням замка Клатка. Приблизившись к старому дубу, о котором мы уже упоминали, он прилежно осмотрел землю в поисках человеческих следов, но вокруг отпечатались лишь копыта оленей; удовлетворившись осмотром, Войслав продолжал путь, предварительно наполовину вытащив кинжал из ножен, точно хотел убедиться том, что в случае нужды он окажется под рукой.

Войслав медленно взбирался по тропинке; было заметно, что он прятал что-то под плащом. Оказавшись во дворе, он оставил руины замка слева от себя и вошел в старинную часовню. В часовне он внимательно огляделся. В заброшенном святилище царила гробовая тишина, прерываемая лишь посвистыванием ветра в ветвях старого боярышника, росшего снаружи. Войслав продолжал осматриваться, пока в глаза ему не бросилась дверь, ведущая к склепу; он торопливо подошел к ней и спустился по ступеням. Местоположение солнца позволяло лучам его проникать сквозь щели; подземная усыпальница была так ярко освещена, что можно было без труда прочитать надписи в ногах и головах гробов. Первым делом кавалер положил на пол сверток, который принес под плащом и затем, переходя от гроба к гробу, застыл наконец перед самым древним из них. Он с вниманием прочитал надпись, задумчиво извлек кинжал из ножен и попробовал поддеть им крышку гроба. Сделать это ему удалось довольно легко, так как проржавевшие железные гвозди едва держались в прогнившем дереве. Внутри он увидел лишь холмик праха, остатки одежды и череп. Быстро вернув крышку на место, он перешел к следующему гробу, миновав захоронения женщины и двух детей. Содержимое гроба не слишком отличалось от предыдущего, за исключением того, что

истлевшее тело оставалось в целости, пока Войслав не приподнял крышку, и только потом рассыпалось в прах, так что различить можно было лишь обрывки полотна и несколько костей. В третьем, четвертом и в следующих шести тела сохранились лучше; иные напоминали изжелта-коричневые мумии, в других гробах посреди бархатных, шелковых или заплесневевших покровов улыбался лишенный кожи череп с волосами; но на всех телах были заметны омерзительные признаки разложения. Оставалось осмотреть еще один гроб; Войслав приблизился и прочитал надпись. То был тот же гроб, что ранее привлек внимание кавалера фон Фаненберга; в нем, судя по надписи, покоился Эззелин фон Клатка, последний властитель замка. Крышка гроба поддавалась с трудом, и Войславу пришлось приложить немало сил, прежде чем ему удалось извлечь гвозди. Все это он проделал как можно тише, словно опасаясь разбудить кого-то, спавшего внутри; затем он приподнял крышку и заглянул внутрь. «Ага!» – невольно сорвалось с его губ; он отступил на шаг. Будь Войслав не готов к тому, что увидел, он испытал бы куда большее потрясение. В гробу лежал Аззо, в точности как живой – такой же, каким видел его Войслав за столом минувшим вечером; во внешности, одежде и всем остальном не имелось никаких отличий; помимо того, скорее казалось, что он спит, нежели покоится на смертном одре: разложение ничуть не затронуло его, а на щеках проступал даже румянец. Лишь недвижная грудь, не вздымаемая дыханием, отличала его от спящего. Несколько минут Войслав стоял неподвижно; он в оцепенении глядел на гроб. Затем с необычайным для него проворством он поднял выпавшую из рук крышку, положил ее на гроб и вбил гвозди в прежние отверстия. Завершив эту работу, Войслав взял принесен-

ный сверток, который оставил у входа, поместил его на крышку гроба, поспешно поднялся по лестнице и покинул церковь и развалины замка.

День клонился к закату, когда Франциска попросила отца позволить ей совершить верховую прогулку с Войславом, объяснив, что намеревается показать гостю окрестности замка. Кавалер с радостью позволил это, рассудив, что дочь пошла на поправку; и вот, сопровождаемые только одним слугой, они сели на лошадей и выехали из замка. Войслав, против обыкновения, был молчалив и серьезен. Когда Франциска начала поддразнивать него, рассуждая о торжественном виде рыцаря и предстоящем ей симпатическом лечении, он отвечал, что дело предстоит им вовсе не смешное; и пусть лечение непременно увенчается успехом, события этого вечера оставят свой след на всей ее будущей жизни. Беседуя таким образом, они пересекли лес; у старого дуба они спешились и оставили лошадей на попечение слуги. Войслав предложил руку Франциске, и они медленно и в молчании поднялись на холм. Они как раз поравнялись с одной из полуразрушенных внешних стен, когда Войслав, точно рассуждая сам с собой и не обращаясь к спутнице, произнес:

– Через четверть часа зайдет солнце, и через час на небе появится луна; нам следует все завершить до ее восхода. Вскоре настанет время приступить к нашему делу.

– Думаю, пора вам рассказать мне, в чем же оно заключается, – сказала Франциска, глядя на него.

– Что ж, юная дама, – внушительно отвечал он, оборотясь к ней, – молю вас, Франциска фон Фаненберг, во имя собственного блага, и во имя отца, любящего вас всей душой, с тщанием взвесить мои слова и не прерывать меня вопросами, на которые я не смогу

дать ответ, покуда труд наш не будет завершен. Жизни вашей угрожает большая опасность; она в той болезни, что донимает вас; и если вы не исполните то, что я вам сейчас скажу, вы безвозвратно погибнете. Обещайте в точности исполнить мои указания; я же даю вам слово рыцаря, что не замыслил ничего неугодного Господу и что честь вашего дома никоим образом не пострадает; вдобавок, это единственный способ спасти вас.

С этими словами он протянул спутнице правую руку, другую же воздел к небу, подтверждая свою клятву.

– Обещаю вам это, – сказала Франциска, тронутая торжественной клятвой Войслава, и положила на его руку свою маленькую, белую, исхудавшую ручку.

– Пойдем же; время пришло, – был ответ.

Войслав повел ее к церкви. Последние солнечные лучи освещали заброшенное здание, проникая сквозь проломы окон. Они вошли в часовню, наиболее хорошо сохранившуюся часть постройки; здесь еще оставалось несколько старинных молитвенных скамей, размещенных перед высоким алтарем; но сам алтарь представлял собой только каменное подножие и несколько ступеней; росписи и украшения давно исчезли.

– Прочитайте молитву Богородице; она будет нелишней, – сказал Войслав, преклоняя колени.

Франциска опустилась на колени рядом с ним и прочитала краткую молитву. Через несколько минут они поднялись на ноги.

– Время настало! Солнце садится; необходимо завершить дело до восхода луны, – быстро сказал Войслав.

– Что я должна делать? – весело спросила Франциска.

– Видите открытый склеп? – спросил Войслав, указывая на дверь в склеп и каменную лестницу. – Вы

должны спуститься. Идти вам придется одной; мне не позволительно вас сопровождать. В склепе, поблизости от входа, вы обнаружите гроб, на котором лежит небольшой сверток. Разверните его: внутри вы найдете три длинных гвоздя и молоток. Затем приготовьтесь и, когда я стану громко произносить символ веры, бейте по гвоздям изо всех сил; вколотите по самую шляпку в крышку гроба сперва один, затем другой и после третий гвоздь.

Франциска замерла, словно пораженная громом; она дрожала всем телом и не могла произнести ни слова.

– Мужайтесь, юная госпожа! – сказал кавалер Войслав, видя, в каком она находится состоянии. – Думайте о том, что вас хранят Небеса и что, не будь на то воля Создателя, и волосу не упасть с вашей головы. Помимо того, должен повторить, что никакая опасность вам не угрожает.

– Тогда я сделаю это, – воскликнула Франциска, понемногу приходя в себя.

– Что бы вы ни услышали, что бы ни происходило внутри гроба, не обращайте внимания и не останавливайтесь, – продолжал Войслав. – Вгоните гвозди в гроб без всяких колебаний: вы должны завершить работу, покуда я читаю молитву.

Франциска задрожала, но вновь взяла себя в руки.

– Я сделаю это; Небеса ниспошлют мне силы, – тихо проговорила она.

– Должен сказать вам еще одно, – неуверенно начал Войслав. – Быть может, это станет для вас самой трудной частью моего замысла, но иначе вы не сможете полностью исцелиться. Когда вы сделаете то, что я вам велел, из гроба... – он помедлил, – из гроба потечет некая жидкость; вы должны окунуть в нее палец и смазать этой жидкостью царапину на вашей шее.

– Ужасно! – вскричала Франциска. – Жидкость эта – кровь. В гробу покоится человеческое существо.

– Там лежит *потустороннее* создание! Кровь же – ваша собственная, но течет она в иных венах, – мрачно произнес Войслав. – Ничего больше не спрашивайте; время уходит.

Франциска, собрав все телесные и душевные силы, направилась к каменной лестнице, ведущей в склеп, тогда как Войслав преклонил колени перед алтарем и погрузился в безмолвную молитву. Спустившись в склеп, девушка оказалась перед гробом, на крышке которого лежал упомянутый выше сверток. В склепе царил полумрак; все выглядело таким тихим и мирным, что она, набравшись смелости, подошла к гробу и развернула сверток. Не успела она разглядеть молоток и гвозди, как внезапно церковь заполнил громкий голос Войслава, нарушивший тишину приделов. Франциска вздрогнула, но расслышала символ веры. Она схватила гвоздь и одним ударом молотка вбила его в крышку гроба на глубину не менее дюйма. Воцарилась тишина; слышно было только эхо удара. Собравшись с духом, девушка обхватила молоток обеими руками и дважды изо всех сил ударила по шляпке гвоздя; тот ушел в дерево. В это мгновение послышался шелестящий звук: казалось, в гробу что-то заворочалось, пытаясь сопротивляться. Франциска в тревоге отшатнулась. Она готова была уже бросить молоток и бежать из склепа, но тут Войслав возвысил голос и молитва прибавила ей уверенности; ее охватило непонятное волнение, подобное тому, что заставляет человека войти в клетку со львами; она возвратилась к гробу, твердо решив завершить начатое. Едва сознавая, что делает, она поместила второй гвоздь в центр крышки и несколькими ударами вбила его по шляпку в дерево. Звуки борьбы становились все ужаснее; из

гроба словно пыталось вырваться какое-то живое существо. Гроб раскачивался, скрипел и со всех сторон покрылся трещинами. Франциска, почти не помня себя, схватила третий гвоздь; в ту минуту она больше не думала о своей болезни и только сознавала, что находится в ужасающей опасности, однако не знала, что именно ей угрожает: в агонии, грозившей ей потерей чувств, слыша треск дерева и стоя перед раскачивающимся гробом, откуда доносились теперь тихие стоны, Франциска по самую шляпку вбила в крышку третий гвоздь. В это мгновение она почувствовала, что теряет сознание. Она хотела было бежать, но пошатнулась; невольно нащупывая рукою опору, она схватилась за угол гроба и без чувств упала на пол.

Прошло около четверти часа; наконец Франциска вновь открыла глаза. Она огляделась по сторонам. Над ней было усыпанное звездами небо; луна отбрасывала холодный отсвет на руины и верхушки дубов. Франциска лежала на траве у церковной стены; Войслав стоял близ нее на коленях и держал ее за руку.

– Слава Богу, вы живы! – с облегчением воскликнул он. – Я стал уже думать, что средство оказалось слишком сильным; но то был единственный способ спасти вас.

Франциска не сразу пришла в себя. Прошедшее казалось ей пугающим сном. Только что – ужасные события в склепе; а теперь все вокруг исполнено тишины. Сперва она не осмеливалась поднять глаза и лишь дрожала, вспоминая, что находится всего в нескольких шагах от склепа, где ей довелось пережить такие ужасные испытания. Словно в тумане, она прислушивалась то к ободрительным речам Войслава, то к свисту слуги, охранявшего лошадей; чтобы скоротать время, тот подражал вечерней песенке запоздавшего домой пастуха.

– Пойдем отсюда, – прошептала Франциска и попыталась подняться. – Но что это? Мое платье на плече промокло, и на руке и шее я чувствую влагу...

– Виновата, должно быть, утренняя роса на траве, – мягко произнес Войслав.

– Нет; это кровь! – воскликнула она, вскакивая на ноги; в голосе ее звучал ужас. – Глядите: рука моя вся в крови!

– Ах, вы ошибаетесь; сомнений нет, вы ошиблись, – неуверенно возразил Войслав. – Быть может, ранка у вас на шее начала кровоточить? Умоляю вас, проверьте, так ли это.

Взяв ее за руку, он поднес пальцы Франциски к ранке.

– Я ничего не чувствую; нет никакой боли, – заметила она с некоторым раздражением.

– Видимо, упав в обморок, вы задели крышку гроба или оцарапались гвоздем, – предположил Войслав.

– О нет, зачем вы напомнили мне об этом! – вся дрожа, вскричала Франциска. – Скорее прочь – прочь отсюда! Молю вас, пойдемте же! Я ни на миг не хочу больше оставаться в этом ужасном, ужасном месте.

Они спустились по тропинке куда быстрее, чем поднялись. Войслав помог спутнице сесть в седло, и скоро они уже мчались по направлению к дому.

Когда лес остался позади, Франциска принялась засыпать своего заступника вопросами о пережитом ею приключении; но он заявил, что она слишком взволнована и потому все объяснения ему придется отложить до утра; утром же он готов будет полностью удовлетворить ее любопытство. По прибытии в замок он незамедлительно проводил Франциску в ее комнату, сказав кавалеру фон Фаненбергу, что дочь его очень утомилась на прогулке и потому не сможет присутствовать за ужином. На следующее утро Франциска про-

снулась раньше обычного; давно уже она не вставала так рано. Она сообщила подруге, что впервые за время болезни ночной сон освежил ее; и что было еще замечательнее, ей не докучал минувшей ночью навязчивый кошмар. Не одна только Берта, но также Франц и кавалер заметили, что выглядела она гораздо лучше прежнего; с позволения Войслава, она поведала им о вечернем приключении. Не успела она завершить рассказ, как со всех сторон на Войслава посыпались вопросы об этих невероятных событиях.

– Доводилось ли вам когда-либо слышать, – осведомился тот, поворачиваясь к хозяину, – о вампирах?

– Достаточно часто, – отвечал кавалер. – Но я не верю в их существование.

– Не верил и я, – заметил Войслав, – однако в их существовании меня убедил собственный опыт.

– Прошу вас, расскажите, как это случилось, – воскликнула Берта, словно охваченная внезапным озарением.

– Произошло это во время моей первой венгерской кампании, когда сабельный удар янычара, который пришелся по лицу, и еще одна рана в плече на время сделали меня беспомощным. Меня поселили в доме одного уважаемого семейства в небольшом городке. Семья состояла из отца, матери и дочери лет двадцати. Они зарабатывали на жизнь, торгуя превосходным вином тех мест, и в трактире их всегда яблоку негде было упасть. Хоть и жили они безбедно, но пребывали в неизбывной печали, вызванной болезнью единственной дочери, девушки очень хорошенькой и достойной. Когда-то она цвела, как роза, однако вот уже несколько месяцев только худела и теряла силы, причем без всякой очевидной причины; перепробовали все средства, чтобы ее вылечить, но ничего не помогало. Армия стояла бивуаком по соседству, и в трактире соби-

рались люди из самых дальних мест и стран. Среди них был один человек, приходивший каждый вечер, когда на небо всходила луна; он поражал всех своими странными манерами и видом; он казался иссохшим, как мертвое тело, и почти ничего не говорил; его редкие изречения несли печать горечи и сарказма. Он привлекал всеобщее внимание тем, что обыкновенно заказывал бокал лучшего вина и время от времени подносил его к губам, но после его ухода бокал на столе всегда оказывался по-прежнему полон.

– Все это так напоминает внешность и манеры Аззо, – заметила Берта, с большим интересом слушавшая рассказ.

– Дочери хозяев, – продолжал Войслав, – день ото дня становилось хуже, невзирая на все усилия врачей-христиан и неверных из числа пленников, с которыми пытались советоваться в надежде на какое-нибудь волшебное снадобье. Любопытно, что девушка постоянно жаловалась на один и тот же сон, в котором ее донимал и преследовал неизвестный гость.

– Совсем как твой сон, Франциска, – воскликнула Берта.

– Однажды вечером, – возобновил свой рассказ Войслав, – старый славянин, много путешествовавший по Турции и Греции и повидавший даже Новый Свет, сидел со мною за столом, попивая вино; в трактир, по обыкновению молча, вошел незнакомец и сел за стол. Мы с другом опустошили не одну бутылку, беседуя о самых разных вещах, о наших приключениях и пережитых нами испытаниях, как страшных, так и забавных. Так мы провели около часа и выпили немало вина. За все это время незнакомец не проронил ни слова, но то и дело презрительно улыбался. Возможно, вино ударило мне в голову, но только он все больше раздражал меня; и когда он расплатился и

собрался уходить, я воскликнул: «Постой-ка, каменный гость: ты только и делал, что слушал, и даже чашу свою не осушил. Пришло время и тебе рассказать нам что-нибудь позанимательней, и если ты не выпьешь свое вино, я затею с тобою ссору». «Да-да», – подхватил славянин, – «ты должен остаться; садись, поговори и выпей с нами». Он был уже не молод, но высок и очень силен; и вот он схватил незнакомца за плечо, чтобы заставить того опуститься на скамью; но тот, хотя и был тощ, как вылитый скелет, одним движением руки отбросил славянина на середину комнаты, порядком оглушив его при этом. Я вскочил и попытался задержать незнакомца. Я поймал его за руку; пружины моей механической руки были послабее нынешних, но все же я, должно быть, в порыве злости схватил его достаточно крепко; он мрачно поглядел на меня, наклонился ко мне и прошептал мне на ухо: «Отпусти меня; по хватке твоей вижу я, что ты брат мой; не мешай же мне искать кровавую пищу. Я голоден!» Удивленный этими словами, я отпустил его; не успел я и глазом моргнуть, как он исчез. Едва опомнившись, я рассказал славянину о том, что слышал. Тот в тревоге отшатнулся. Я попросил его объяснить причину этого страха и необычайные слова незнакомца. По пути домой, когда я провожал славянина, он исполнил мою просьбу. «Этот незнакомец», – сказал он, – «вампир!»

– Но как? – в один голос с ужасом вскричали кавалер, Франциска и Берта. – Значит, и Аззо был...

– Именно так. Он также был вампиром! – ответил Войслав. – Однако *его* адская жажда навсегда иссякла; он никогда больше не возвратится. – Но я не закончил рассказ. Поскольку в моих краях никогда не слыхали о вампирах, я подробно расспросил о них славянина. Он поведал мне, что в Венгрии, Хорватии, Дал-

мации и Боснии эти дьявольские отродья встречаются довольно часто. Вампирами становятся умершие люди, что при жизни служили пищей для других вампиров, совершившие какой-либо смертный грех или отлученные от церкви; когда на небе является луна, они встают из могил и пьют кровь живых.

– Какой ужас! – воскликнула Франциска. – Если бы вы заранее рассказали мне об этом, я не нашла бы в себе смелости покончить с ним.

– Так и я думал; увы, расправиться с вампиром может только жертва, в то время как кто-то другой должен читать молитвы. Славянин, – продолжал он, помедлив, – рассказал мне множество историй об этих потусторонних посетителях. Он сказал, что жертвы их чахнут на глазах, тогда как вампиры начинают выглядеть все лучше; он говорил также, что вампиры обладают чудовищной силой…

– Теперь я понимаю, отчего Аззо так переменился, ощутив хватку вашей механической руки, – вмешался Франц.

– Да, в том-то все и дело, – ответил Войслав. – Аззо, как и тот другой вампир, решил, что я обладаю подобной силой от природы и, следовательно, принадлежу к его семейству. Теперь вы можете себе представить, дорогая, – произнес он, оборачиваясь к Франциске, – как встревожило меня по приезде ваше состояние; все, что вы с Бертой мне рассказали, только усилило мою тревогу; при виде Аззо у меня не осталось никаких сомнений – предо мной был вампир! Узнав от вас, что в окрестностях имеется могила некоего Эззелина фон Клатки, я понял, что сумею спасти вас, если только смогу заручиться вашей помощью. Мне подумалось, что не стоит посвящать вас во все обстоятельства дела, ибо ваши силы были на исходе и мысль о предстоящих ужасах могла бы заставить вас отступить;

по этой причине я и устроил все так, что вы ни о чем не догадывались.

– Вы поступили мудро, – вздрагивая, произнесла Франциска. – Я никогда не смогу отблагодарить вас. Знай я, что мне предстоит, я ни за что не сумела бы выполнить задуманное.

– Этого я и боялся, – сказал Войслав, – но удача была на нашей стороне.

– А что произошло с той бедной девушкой в Венгрии? – спросила Берта.

– Не знаю, – ответил Войслав. – На следующий вечер нас подняли по тревоге – приближались турки. Нам приказали выступать. Больше я ничего о ней не слыхал.

Беседа о странных событиях продолжалась еще некоторое время. Кавалер фон Фаненберг решил навсегда замуровать родовой склеп в замке Клатка. Это было сделано на следующее же утро, под предлогом того, что непочтительные гости, как заметил кавалер, не должны беспокоить мертвых.

Франциска начала понемногу выздоравливать. Ее здоровье так пошатнулось, что она долго не могла поправиться; но наконец силы вернулись к ней, и никакая опасность ей отныне не угрожала. Характер юной дамы тем временем заметно изменился. Быть может, она несколько утратила прежнюю твердость, но место ее заняли мягкость и доброжелательность, оттенявшие лучшие качества девушки. Франц продолжал ухаживать за кузиной, однако – вероятно, по совету Берты – проявлял меньшую настойчивость, выказывая свою любовь. По склонностям своим он не был расположен к войне, армейским бивуакам и погоне за славой; он стремился лишь всемерно улучшить благосостояние своих подданных, чему посвятил все силы своего ума. Франциска не могла долго противиться

скромным знакам внимания со стороны молодого человека; прошло не так много времени, и уважение к его стараниям во благо ближних перешло в симпатию, которая все возрастала и в конце концов превратилась в любовь. Поскольку Войслав мечтал справить свадьбу с Бертой до возвращения в Силезию, решено было провести церемонию в имении. Сколь радостно было удивление кавалера Фаненберга, когда его дочь и Франц также испросили его благословения и выразили желание обвенчаться в тот же день! День тот вскоре настал, и закат его был встречен сияющими взорами двух пар счастливых супругов.



УПЫРЬ НА ФУРШТАТСКОЙ УЛИЦЕ

(Быль XIX столетия)

На одном из многолюдных петербургских публичных балов, я встретил, к величайшему моему удивлению, давнишнего моего знакомого и приятеля штаб-лекаря Ивана Петровича Т....

Иван Петрович человек вполне достойный уважения. Беспредельное человеколюбие, непоколебимое терпение и пламенная любовь к медицинской науке, которую он величает, когда находится в веселом расположении духа, *изящным искусством* – отличительные его качества. В продолжении десятимесячной осады Севастополя, он ни на минуту не покидал перевязочных пунктов, утверждая, что «разного рода бывают обстоятельства даже при самой простой ампутации и что медик не имеет права упускать ни единого случая, дающего повод к наблюдениям». Зная весьма хорошо, что Иван Петрович дорого ценит каждую минуту жизни, я, признаюсь, весьма удивился присутствию его на бале.

– Где это вы пропадали после Крымской кампании? – спросил я, дружески пожимая ему руку.

– Делишки все справлял, не управишься разом. У меня, батюшка, такой каталог ампутаций составился, что хоть в любую библиотеку. К тому же по пути знакомых много поразвелось – там без руки, тут без ноги, все добрые приятели, знаете, вот я и позамешкался.

– Я вижу, что любовь ваша к науке не охладела...

– К искусству, почтеннейший, к *изящному искусству медицины*. Какое – охладела! пуще разгорелась от усиленной практики.

– Ну, а каким чудом вы на бал попали? – спросил я, улыбаясь и осматривая довольно невежливо вовсе не бальную турнюру почтенного моего приятеля.

– Вот это уж подлинно ребячество, – отвечал Иван Петрович, несколько сконфузясь. – Захотелось испробовать, какое впечатление произведут на меня здешний блеск, шум, тары-бары и увеселительная музыка после нашего адского огня, трескотни и всех осадных удовольствий. Не поверите? прошлое показалось просто сон! Не верится, чтобы такие ужасы могли быть наяву. Чудно устроен, как подумаешь, человеческий *sensorium*!* Иной раз запах какого-нибудь цветка так глубоко заляжет в памяти, что его оттуда и штыком не выжмешь, а другой раз самые ужасные происшествия – промчатся в воспоминании, как китайские тени. Впрочем, на бал-то я не даром прокатился; *на ловца зверь бежит*, как гласит пословица. Пойдемте-ка, я вам чудный субъект покажу. Такого великолепного «*Chlorosis*»* мне еще не случалось потрафить в продолжение долголетней практики.

Иван Петрович взял меня под руку и провел на другой конец залы; там, в группе молодых, свежих, румяных девушек он указал мне на предмет его удивления. И действительно, было чему подивиться! Вообразите себе девушку, как бы поднятую неизвестно по какой причине из гроба и выставленную напоказ, в бальном платье и с цветами на голове. Лоб, щеки, губы, обнаженные плечи, все это было покрыто смертною бледностью, без малейшего признака жизненности. Правильные черты лица казались высеченными из белого мрамора и светло-голубые, почти белые и потухшие глаза довершали иллюзию. Возле *призрач-*

ной девушки сидела дородная, краснощекая барыня; вопиющий контраст цветущего здоровья и самых явных признаков разрушения.

– Что это такое? – спросил я Ивана Петровича, невольно сделав гримасу.

– «*Chlorosis*»! почтеннейший, великолепнейший chlorosis в полном развитии.

– Зачем же возят на бал эту девушку?

– Это не мое дело, – отвечал Иван Петрович, жадно всматриваясь в любопытный *субъект*; – а вот хотелось бы попробовать над ней электромагнитный аппарат, с присоединением железной окиси... Ну, да это до вас не касается. А как вы думаете? смешно будет, если я предложу свои услуги?

Я улыбнулся.

– Что и говорить? – продолжал, оживляясь, Иван Петрович, – разумеется, смешно! Однако ж, как-нибудь да распознаю, уж доберусь до барышни! Вот не приди мне давеча в голову – странная мысль сравнить бальные впечатления с севастопольскими, я не увидел бы любопытного субъекта. Следовательно, я действовал бессознательно, под влиянием вдохновения, а где есть вдохновение, там непременно возникает *изящное искусство*. Я говорю это в подтверждение известной вам мысли, почтеннейший!.. – и Иван Петрович добродушно засмеялся.

Между тем, бал был в полном разгаре, множество прелестных девушек порхало в мазурке, точно разноцветные бабочки, во всю длину залы. – Огромный, сплошной круг в сто пятьдесят пар занимал всю окружность наподобие гигантской гирлянды, сплетенной без разбора, потому что тут самые враждебные цвета, розовый и красный, голубой и зеленый и так далее приходились сплошь да рядом. Увлекательные танцы, упоительная музыка и не менее упоительный

женский говор, разнообразие щегольских нарядов, блистательное освещение, все это придавало общей картине очаровательный вид. Но вот чудо! девица-*призрак* нашла себе отважного кавалера и отплясывала также мазурку, не утрачивая на единый *гран*, по выражению Ивана Петровича, мертвенно-мраморной своей бледности.

Чудак мой приятель не спускал с нее глаз, хотя я всячески старался отвлечь его внимание – беспрестанно указывая на прелестнейшие и животрепещущие плечики, ротики, глазки, ножки и проч. и проч.

Наконец, упорство его мне надоело и я предоставил ему восхищаться сколько душе угодно – *патологическою* его находкою. В толпе, хлынувшей по всем направлениям по окончании мазурки, я потерял из виду и любознательного медика и страшный предмет его наблюдений.

С следующего дня я стал сбираться навестить старинного своего приятеля; но собирался, как водится, на петербургский манер, т. е. откладывая со дня на день, и так как Иван Петрович шел по одной стезе, а я совершенно по противоположной тропинке, то мы могли бы прожить весь свой век в одном и том же городе и никогда не встретиться. – Однако же, месяц спустя, мне посчастливилось и я однажды, на повороте какой-то улицы, столкнулся почти нос с носом с Иваном Петровичем.

– Вот славно! – проговорил он, отступая шаг назад, – гора с горой не встретится! Хорош же вы гусь! У меня занятий с три короба – а вы-то что поделываете? Не грешно ли вам, что не навестите?

– Разумеется, грешно и стыдно, почтеннейший Иван Петрович, но, во-первых, вы мне не дали вашего адреса, а во-вторых... не слишком ли вы уж заняты, – при-

бавил я с лукавою улыбкою, — *патологическою* вашею девицею?

Добродушное лицо Ивана Петровича вдруг приняло какое-то особенно грустное выражение.

– Да, да, да, – теперь вспомнил, – проговорил он, озираясь, – ведь вы присутствовали при первой нашей встрече. – Ну! это, любезнейший, целая курьезная история или, пожалуй, страшное, казусное дело, рассказывать его на перекрестках не приходится. – К тому мне некогда, я спешу на *ампутацию*, стариной тряхнуть захотелось; – а вот заходите ко мне ужо, часу в девятом, я вам кой-что порасскажу. Есть над чем призадуматься.

Слова Ивана Петровича возбудили до крайности мое любопытство, — я знал, что он человек вовсе не романтический и не станет терять времени над какими-нибудь бреднями и пустяками. – Вот почему, не дождавшись даже назначенного срока, я отправился, вскоре после обеда, отыскивать по указанию квартиру Ивана Петровича. – Отыскать вечером, в Петербурге, квартиру небогатого холостяка, вовсе не безделица; однако ж мне на этот раз посчастливилось. Во-первых, я попал как раз на то крыльцо, на которое следовало; ощупью взошел до четвертого этажа; наудачу толкнулся в дверь по левую руку и очутился в кухне Ивана Петровича.—«Тут ли вход?» – спросил я у денщика, отворившего мне дверь. – «Тут, батюшка, тут», — отвечал старик, снимая с меня шубу, – «только извольте поосторожнее около плиты-то...»

– Тьфу ты пропасть!! – подумал я, – родятся же на свет Божий бестолковые архитекторы!

Чувство досады еще более увеличилось, когда я увидел, что жилые комнаты светлы, достаточно просторны и высоки, словом, как быть следует.

Я застал Ивана Петровича в старом пальто, застегнутом как-то наискось, без галстуха и без других необходимых принадлежностей – впрочем, на ногах у него были дамские туфли, обитые беличьим мехом под горностай.

Иван Петрович сидел спиною к дверям, за большим столом, отягощенным донельзя бумагами, брошюрами, инструментами, трубками, сигарами и пр. и пр. В то время, как я входил в комнату, Иван Петрович погружен был в созерцание какого-то окровавленного, черного, губчатого предмета, бережно положенного на чистую фаянсовую тарелку. – По этому случаю Иван Петрович вооружил даже свой коротенький, жирный нос очками, увеличительного, вероятно, свойства. – Это бы еще ничего. — Но вот что для меня вовсе непонятно: как мог Иван Петрович, делая наблюдения над этой отвратительной мертвечиной, прихлебывать из стакана чай, да еще закусывать баранками! – решительно непонятно!

Иван Петрович принял меня, разумеется, весьма ласково – и тотчас угостил своей диковинкой.

– Как вы думаете, что это такое? – спросил он, надевая снова очки.

– Право, не знаю! – отвечал я, отворачиваясь и зажимая нос.

– Всего только одна фаланга указательного пальца, – произнес Иван Петрович. — Но что за чудо, какая игра природы? губчатый, огромный, грибовидный нарост на живом существе. – Развитие жизни растительной наперекор жизни органической...

Только тут Иван Петрович заметил, вероятно, кислую мою физиономию, потому что он поспешно прикрыл рукою свое грибовидное сокровище. «Виноват, почтеннейший, виноват», – проговорил он, унося та-

релку в другую комнату, – «все забываю, вы не из нашей братии...»

– *Artista del bisturi**, — прибавил он, смеясь.

Пока Иван Петрович нянчился с своей мертвечиной, я, рассматривая *кафарниумовидный** стол, обратил внимание на небольшую шеренгу аккуратно выставленных книжек, противно обычаям прочих товарищей, валявшихся как попало. Книги, выставленные аккуратно, оказались все без изъятия «*психиатрического*» содержания.

Иван Петрович, заметив, что я рассматриваю заглавия книг, провел ласково рукою по их корешкам, прибавив, неизвестно почему:

– Вот *канашки-то*! — я вам скажу, уж мое почтение!

– Но тут большею частью французские сочинения, – заметил я с двусмысленною улыбкою.

– Нет, есть также два русских сочинения... впрочем, – продолжал он, как бы отвечая на мою улыбку, – в психиатрии первенство по всем правам принадлежит французским медикам. Пинель (Pinell)* первый вступился за несчастных, одержимых страшным недугом помешательства. — До того времени их держали прикованными к стене, без всякой классификации, без различия пола и возраста. — Страх забирает при одной мысли, от каких ужасных бедствий Пинель избавил значительную, немаловажную часть страждущего человечества. — Да скажите мне на милость, продолжал Иван Петрович, постепенно воодушевляясь, – что это у вас вышла нынче за мода, хаить и порочить французских писателей и ученых. Вишь, говорят: народ ветреный, не художественный!

Полноте, господа! Народ сам по себе – а писатели сами по себе! Голова всегда выше туловища. От того, что Гоголь родился в Малороссии, из этого не следует, что все малороссы должны быть Гоголями! – Странные

бывают у нас, можно сказать, повальные умственные болезни.

Оттого, что некоторым не нравятся рассказы Дюма – так и пиши пропало. Все французы, вишь, болтуны и вертопрахи! Вот как? И Декарт, родоначальник аналитического мышления, и *Condillac*, и *Condorcet*, и *Dallembert*, и *Diderot*, и *Voltaire* – все это так – *comment vous portez vous*!* Полноте, пожалуйста! да по медицинской части у французов, от Ambroise Paré до Bichat и Шомеля* можно насчитать сотни светильников; – точно так же и в химии, в истории*, и пр. и пр*. Образумьтесь же, господа, ради Бога: посбавьте с себя спеси. – Нет слова, и у нас были, есть и будут люди с талантами и познаниями, люди вполне достойные, только если кто-либо из них вздумал бы дать поручение на том свете, «*кланяться нашим*», то признайтесь, что тот, кто исполнит поручение, не накостыляет себе шеи. – Что ж? и тут беда не велика! Молодость не порок; дойдет и до нас очередь, разумом разводить – других учить и тысячами считать писателей и ученых, – а теперь не худо бы поскромней! Так небось, нет! все норовят петушком! – Соберутся умницы наши, да друг другу и ну в пояс кланяться: «Почтеннейший Фома Фомич, ты-де семи пядей мудрец во лбу;» а тот отвечает: «Ох-ма! Акакий Иванович, про вашу премудрость вся, мол, Эвропия ведает». – Вот так-то и потешаются! А какой Эвропия ведает – ей еще не до наших умников. – Вот, например, хоть я, человек я простой, по-иностранному тары-бары вести не умею, – но понял, что мне следует выучиться читать и уразуметь на языках иностранных и признаюсь смело, откровенно, и не краснея, что многого бы не досчитался, если бы остался только при познании одного родного языка...

Тут я прервал речь Ивана Петровича.

– Позвольте, однако же, это вовсе ко мне не относится....

– А вот это и худо, – продолжал Иван Петрович, взошедший в совершенный азарт, – в деле общественном все до всех должно касаться. – Отвиливать или отнекиваться не следует. Помогай как знаешь: кто словом, кто делом, а кто одним понуканьем – и такие нужны. – Когда каждый будет в действии, авось дело и пойдет вперед, – а теперь только кичимся, похваляемся, а проку еще не много. Вот еще в моду пошло – взывать *к правде*, выкликать ее наружу! Правда не сразу дается! Прежде, чем о штукатурке говорить, выведи фундамент, прочное основание положи – нельзя же с крыши начинать? – Снизу-то, пожалуй, и не напустит правды – а такой, что тошно станет; а сверху правда не соскочит – стара штука, охота себе шею сломать! – На *правду* – есть *кошечка*, это гласное разбирательство за клевету – вот эта так и с чердака ее, пожалуй, добудет. А теперь нет поощрения! – Будь ты Кузьма бессребреник, али Иуда предатель, все равно, клевета безнаказанно взвалит тебе на плечи какую хочешь небылицу...

Тут Иван Петрович вдруг круто остановился, как строптивый конь, упираясь четырьмя ногами в землю.

– *Attandez*-с*, продолжал он после минутного молчания; рысачок закусил удила, не на ту дорогу попал. Этак мы, пожалуй, и весь вечер проплутаем и не доберемся до казусного дела....

Тут я прервал его.

– Позвольте прежде попросить у вас пояснений насчет *психиатрической* шеренги, – сказал я, указывая на книги.

– Они прикосновенны к делу, – отвечал, насупившись, почтенный медик. – Много тут полезных и глубоких изысканий; много тут добросовестных трудов,

– говорил Иван Петрович, указывая на книги, – хитро придумал *Эсквироль** для каждого вида болезни особое название; но что такое, в сущности, страшный недуг помешательства? где он зарождается? отчего он имеет свойство поражать иногда только одну, отдельную группу мозговых отправлений, оставляя разум по прочим отправлениям в совершенно нормальном состоянии? Все это тайна, глубокая, непроницаемая тайна!! Однако ж, вы не диссертации пришли слушать... Фока – *шкот* препочтеннейший! – воскликнул Иван Петрович, – снабди-ка нас *горяченьким*.

Старик Фока немедленно явился с стаканами горячего чаю; мы закурили сигары; я расположился на диван; Иван Петрович сел против меня по-*наполеоновски* (верхом на стул) и начал свое повествование:

– Тем часом, как вы предательски отретировались, оставив меня на произвол собственным моим силам, я решился сделать ближайшую рекогносцировку; посредством искусного маневра, я очутился как раз подле стула дородной, краснощекой барыни, помните, которая вас поразила как вопиющий контраст, и вскоре я узнал из разговоров с ее соседкою, что предмет моих наблюдений ни менее, ни более как *родное ее детище*! Я ушам своим не верил! И тип другой, и кровь другая... то есть ни малейшего признака какого-либо сходства! Вот я стою и все думаю, как бы мне познакомиться с матушкой, пока дочка танцует мазурку. Вдруг, чувствую, что кто-то меня сильно толкнул, наступил мне на ногу, и вдобавок зацепил саблею. Я быстро обернулся с самыми неприязненными намерениями, но тотчас же пришел в умиление, узнав в виновнике бывшего моего полкового командира Карла Карловича Б..., с которым мы не видались лет пятнадцать, коли не более. Карл Карлович, который никогда и ни перед кем не извинялся, даже если бы ему слу-

чилось наткнуться на королеву великобританскую, отступил уже два шага и, подобрав саблю и покручивая ус, ожидал моих упреков; но тотчас же и его лицо прояснилось и он дружески протянул мне обе руки.

– Ба, ба, ба! Иван Петрович! вот сюрприз самый неожиданнейший! самый наиприятнейший! Неслыханно *рад*! и как это вы сюда *попадали*?

Я также рад был встрече, потому что Карл Карлович действительно был и есть благороднейший человек, хотя и слыл всегда за ежового командира, по случаю чересчур немецкой аккуратности.

– Погодите немного, Иван Петрович, я только скажу *пару слов* моей Авдотье Федотовне...

– Да ее не видать здесь, – заметил я.

– Как *нет* здесь, – сказал, улыбаясь, Карл Карлович, – я к ней и пробирался, когда вас толкнул.

Тут Карл Карлович указал мне на известную уже вам дородную барыню.

– А это кто? посмотрите, – проговорил он весело; – что, не узнали, небось?

Фигура моя имела весьма забавное выражение, вероятно, потому что и Карл Карлович, и жена его, и даже соседка ее весьма долго смеялись.

Вот какие бывают, почтеннейший, стечения обстоятельств! Не думал, не гадал и как раз на все напал.

Карл Карлович предлагал было жене своей поужинать во время мазурки, но та не согласилась, говорит: Анюточки подожду. Вот мы и отправились с генералом в буфет, сели в сторонку, он спросил себе чаю, а я тотчас же приступил к делу.

– Что, Карл Карлович, – спросил я, – как вы насчет медицины – прежнего мнения, что ли?

Генерал посмотрел мне на жгуты, на шитье мундира, на кресты и сказал, улыбаясь:

– Вы, кажется, в чины пошли: признаюсь, что я немного сбился насчет ваших знаков *отличительных*, так пожалуй вы еще *обижаться* будете; однако ж все равно, я *буду* правду говорить. *Ножевая* медицина (хирургия) дело хорошее; а стекляночная медицина – никуда *негодна*.

– Жаль, что вы такого невыгодного мнения о медицине, Карл Карлович, – сказал я довольно серьезным тоном.

– А что? – спросил он с удивлением.

– А то, что дочь ваша требует немедленного, серьезного, энергетического медицинского пособия!

Карл Карлович схватил меня за руку и, понизив голос, проговорил с большим волнением:

– Так вы видели Анюту, – бедная девушка! Что тут делать? Божья воля! Разумеется, призывали докторов и теперь ездят, да проку мало? Вот если бы дело *шел* до операции, это *хорошо*; тотчас отрежут, выправят, заново поставят. А когда *внутренностью* действовать, уж все не то. Дают пилюли, порошки, а бедняжка вот второй год как *чахнет*...

– То-то и есть, что не *чахнет*, –тут нет чахоточных признаков.

– Называйте как хотите по вашему, – отвечал генерал, махнув рукой, – а я вижу, что дочь у меня совсем пропадает.

– Позвольте мне попробовать? Я не выдаю себя за чудо-знахаря, но, авось, Бог милостив.

– Ох! ох! – заметил Карл Карлович, покачав головою; – русский все на авось и на милость Божию рассчитывает! Впрочем, вы для нас не чужой человек, побывайте, попробуйте; только я вас *предупреждать* должен, что дочь моя веры не имеет в лекарства и взяла даже с нас обещание, что мы ее более не будем мучить новыми опытами.

– Будьте спокойны, я уж как-нибудь да приноровлюсь.

Тем мы и покончили; решено было, что я явлюсь в дом генерала в качестве старинного подчиненного.

Для уяснения всего дела, – а дело весьма казусное, как увидите, – все эти подробности необходимы, потому что среда, в которой живет пациент, характер, даже образ мыслей, с которыми он находится в беспрестанных сношениях, часто имеют большое влияние на ход и развитие болезни, разумеется, болезни продолжительной или хронической.

Два дня спустя (после вышеупомянутого разговора) я отправился в двенадцать часов утром, по указанию Карла Карловича, на Фурштатскую и, отыскав старинный, деревянный, впрочем, довольно уютный дом, я наконец проник в желаемую *фортецию*.

Авдотья Федотовна приняла меня весьма ласково, как истая русская, московская барыня, утверждая, что она меня на бале не видала, но что если бы видела, то непременно сейчас же бы узнала... потому что она на добрых людей памятлива, и что кто удостоил ее хлеба-соли откушать, так тот ее гость дорогой, и что гость Божье благословение и пр. и пр. Очевидно, что если Авдотья Федотовна больно потолстела, то это не от запаса слов; они у нее за пазухой не держались! Впрочем, лишь только муж ее объяснил ей вполголоса (дочь еще не выходила из своей комнаты) цель моего посещения, то бедная старуха тотчас же приумолкла и начала тихо плакать, всхлипывая и приговаривая: «Ох! моя милая! голубушка; а уж какая была хорошенькая! кровь с молоком». Не успела старушка вымолвить этих слов, как дверь отворилась и показалась Анна Карловна.

Вы знаете, что я порядком обстрелен насчет видоизменений человечества, но должен сознаться, что у

меня мурашки пробежали по коже, увидев днем несчастную девушку. Она вас и вечером поразила, но это все не то – там свечи, но утром, в белом пеньюаре или халате, не знаю, как это называется, без всякого убранства, просто страшно; ну, ходячая статуя да и только.

Авдотья Федотовна ловко скрыла слезы, а Карл Карлович пошел навстречу дочери, поцеловал ее в лоб и, нежно обняв рукою, подвел ко мне.

– Ты, пожалуйста, Анюта, не подумай, что Иван Петрович навестил нас как медик; нет, это старый приятель, мы вместе служили, ты еще была ребенок *совсем*. Полюби его, он человек *совсем* добрый.

Я поклонился. Анна Карловна недоверчиво посмотрела на меня, однако отвечала довольно приветливо, но каким-то унылым, как бы надтреснутым голосом:

– Очень рада познакомиться; папа так часто вспоминает о прежних своих сослуживцах, что поневоле их полюбишь.

Первый визит я посвятил только общим наблюдениям и старался всячески изгладить в мыслях Анны Карловны идею о медицинском характере моего посещения. С этой целью я говорил предпочтительно об интересах общечеловеческих, *гуманных*, как выражаются еще некоторые, и не раз замечал с удовольствием, что девушка не только что следила за ходом разговора, но и сочувствовала некоторым выраженным мною мыслям. Это дело немаловажное: в хронических и в нервных болезнях, медик прежде всего должен приобрести нравственное влияние над своим пациентом. Другой результат первого моего визита, было подтверждение в уме моем давнишнего мнения, а именно: что сводные браки (les marriages mixtes), как я называю, то есть браки, в которых супруги различных национальностей, или различного вероисповедания, имеют иногда последствием производить на свет или *ультра-фа-*

натиков, как в религиозном отношении, так и в отношении идеи о национальности, или людей совершенно равнодушных и в том и в другом отношении. Впрочем, в таком только случае, разумеется, когда дети воспитываются дома, на глазах родителей и сами имеют пред глазами беспрестанные столкновеньица и недоразумения, происходящие от различия воззрений на важные, коренные предметы, каковы: верование и идея национальности.

Вот, между прочим, небольшой пример. За завтраком (Карл Карлович никак не хотел отпустить меня без завтрака) подали битые котлеты, разварную рыбу и картофель.

Карл Карлович, заметив, что дочь довольствуется разварным картофелем, пододвинул в ее сторону блюдо с котлетами.

– Кушай котлеты, Анюта! для тебя нужна питательная пища.

– Не хочется, папа, – отвечала девушка, избегая отцовского взгляда, — я лучше поем рыбы.

– Вздор, друг мой, кушай котлеты, рыба тебе не годится. Не правда ли, Иван Петрович? – спросил генерал, обращаясь ко мне.

– Мясная пища предпочтительнее, – отвечал я весьма просто, все еще не догадываясь, что тут дело о вопросе весьма серьезном.

Тут вмешалась Авдотья Карловна.

– Ты забываешь, друг мой, что сегодня среда, – сказала она, обращаясь к мужу, но не поднимая также глаз с тарелки.

Карл Карлович крякнул как-то выразительно, но не желая, вероятно, при постороннем придать серьезный оборот небольшой этой размолвке, сказал шутя: «Среда не пятница, а масленица не великий пост. Что для здорового *шутка*, то для больного *жутко*. – Пусть Ав-

дотья *Федотиевна* кушает круглый год жареные *подошвы* в постном масле (сушеные грибы); для нее это здорово, – но тебе, друг мой, я думаю, и ангел-хранитель твой не посоветует также поститься».

Анна Карловна, заметив, что дело принимает довольно мирный оборот, ласково посмотрела на отца и отвечала, улыбаясь:

– Шведенборг* говорит, что ангелы плодами питаются.

«Ого!» – подумал я, – «девушка Шведенборга читает! Это нужно принять к сведению».

На этот раз эпизод этот кончился тем, что Карл Карлович отодвинул тарелку, пожал плечами и проворчал: «*Ну как знаешь!*» – Но нетрудно было догадаться, что подобного рода вопросы нередко возобновляются в кругу семейства Карла Карловича. – От этого неминуемо происходило подергивание и колебание, которые должны были непременно поколебать некоторые убеждения дочери.

В последующие дни я быстро проник во все изгибы мыслей и характера Анны Карловны и убедился, что она была девушка-*выродок* в некотором отношении. К немцам она не пристала, а от русских отстала. – Так, например: дома отец ее никогда не говорил по-немецки, оттого что Авдотья Федотовна ни слова не понимала на этом языке; по-моему, это весьма деликатно со стороны Карла Карловича, а между тем, я не раз подмечал, что Анна Карловна как будто совестится за отца, оттого что тот не слишком хорошо управляется с русскими падежами и склонениями. Одна из любимых шуток Карла Карловича состояла в том, что он будто бы отгонял мать от дочери, утверждая, что «Авдотья Федотовна все здоровье *в себя забирает*». – «Ходите прочь! Авдотья Федот...», – говаривал Карл Карлович, замахиваясь носовым платком. На что ста-

рушка непременно отвечала с добродушной улыбкой: «Иду, батюшка, иду!» Мне это было очень по душе: и немецкая фразеология Карла Карловича и добродушный ответ русской старушки; но я замечал, что на Анну Карловну и то и другое производило весьма невыгодное впечатление. Видно было по всему, что с ее стороны не было ни полного доверия, ни откровенности; и что в сущности она была, как говорится: ни рыба, ни мясо, не русская и не немка.

Осмотревшись таким образом малую толику, я, денька три спустя, улучил минуту, когда мы были с Анной Карловной глаз на глаз, да и приступил прямо к делу.

– Вам необходимо медицинское пособие, – сказал я... Она было хотела вон из комнаты; – я остановил ее, – выслушайте, пожалуйста!... пособие не простыми лекарствами, пилюлями, микстурами и прочими гадостями. Для душевных болезней нужны другие элементы.

Анна Карловна вздрогнула.

– Где же видите вы, Иван Петрович, душевную болезнь во мне?

– Ну, по крайней мере нравственное неудовольствие, маразм мысли, хронический застой... – я с намерением говорил вычурно и неудобопонятно; – все это может повести, довершил я, к неправильному кровообращению и уменьшению деятельности сердца.

Анна Карловна схватила меня за руку и почти вскрикнула.

– Так видно, очень заметно, что у меня количество крови уменьшается?

– Полноте, Анна Карловна, успокойтесь, вы девица умная, просвещенная... кровь не уменьшается, а изменяется. Но на все есть средства, согласитесь только лечиться без сопротивления и капризов....

– Хорошо, – сказала она, – я на все согласна. Только я прежде вас еще знала, что количество крови у меня уменьшается, – прибавила она с каким-то таинственным видом; – так и должно было быть, но, пожалуйста, не пугайте матушку!

В тот же день я подвергнул пациентку сильному действию электромагнитного аппарата, и признаюсь, что первоначальный эффект чрезвычайно меня порадовал, потому что на висках и шее жилки обозначились, губы слегка зарумянились, пульс поднялся и кожа несколько оживилась. Но увы! реакция не упрочилась и силы больной стали видимо упадать.

Однако ж, несмотря на крайний упадок сил, ее невозможно было удержать в постели и на ночь она часто меняла комнаты: то спала в гостиной, то в столовой, то в спальне матери. Опыт мой не удался, это было очевидно, но я прибегал к другим средствам и еще не унывал совершенно. Старания мои и неутомимые попечения доставили мне доверие и, можно сказать, дружеское расположепие несчастной девушки; она меня с трудом от себя отпускала, и я нередко сиживал возле нее до поздней ночи и даже большую часть ночи.

Однажды, тому назад не с большим неделя… тут Иван Петрович вдруг поспешно встал и разом зажег 6 или 7 свечей, вдобавок к прежде горевшим двум. «Тьфу ты пропасть! что за темнота», – проговорил он не без некоторого смущения.

Прищурившись от внезапного и неожиданного освещения, я, не без удивления, обратил испытующий взор на Ивана Петровича.

– Смейтесь, –сказал он, заметив направление моих глаз, – а мне, право, тогда было не до смеху!

– Да что ж такое, наконец? – спросил я с некоторым нетерпением.

– А вот что! что разговор наш с барышнею – дошел до чертей.

Я решительно расхохотался.

– В том-то и дело, что не смешно, ей-ей, не смешно, – возразил Иван Петрович, принимая прежнее *наполеоновское* положение на стуле.

Время подходило к полночи. – Карл Карлович был где-то по службе в отлучке, Авдотья Федотовна пошла отдохнуть в свою комнату, старая няня дремала на диване за ширмами, так что мы были решительно вдвоем, глаз на глаз, что называется, с Анною Карловною, которая, бедняжка, уже не в силах была вставать с постели. – Комната находилась в полумраке, однако ж мраморная, мертво-бледная голова больной резко обозначалась на подушке, отделяясь от темного фона шелковых занавесок. — Я сидел возле постели, лицом к больной, и по временам щупал пульс, слабо перемежающийся и более и более упадающий. – Вдруг Анна Карловна тихо пожала мне руку, как бы желая обратить особенное мое внимание, и проговорила слабым, но внятным голосом:

– Иван Петрович, мне совестно перед вами!

Я покачал головой в знак упрека.

– Нет, вы не так понимаете меня! – Мне совестно, что я не предупредила вас, не открыла вам *правды*; вы не потеряли бы столько дней на напрасное лечение.

– Полноте, Анна Карловна, побойтесь Бога! какая тут потеря времени...

Но она сделала мне знак рукой, показывая, чтобы я замолчал.

– Вам известно, что я невеста? – спросила она.

– То есть я слышал мельком, что вы были невестою, – отвечал я уклончиво, не желая растравлять тягостных ее воспоминаний.

– Нет! не была, а есть – и до сих пор невеста. – Матушка уверяет, что жених мой убит, и папа тоже говорит; но они ошибаются – это неправда.

Принимая слова эти за бред, я стал успокаивать больную:

– Успокойтесь, Анна Карловна – что ж делать! Божья воля.

– Неправда, неправда, – продолжала она, не слушая моих увещаний: – жених мой еще в плену у англичан...

Тут я прервал ее речь, заставил немного успокоиться, дал ей выпить глоток, другой питья; – и, желая разрушить до основания нелепую мысль, я сказал ей довольно круто:

– Вот видите, Анна Карловна, что мысль эта не что иное, как бред с вашей стороны. Союзники давно очистили Крым, и все пленные давно благополучно вернулись восвояси.

– Но жених мой в плену у англичан, оставшихся в Крыму...

– Полноте, Анна Карловна – полноте бредить – вам говорят, что все оставили Крым.

– Нет, не все, – упорно настаивала больная, – остались на кладбищах. – Жених мой в плену у покойников!

Слова эти поразили меня, как обухом по голове: они уже обозначали не простой бред, а умственное помешательство, потому что, несмотря на явную нелепость, заключали однако ж в себе некоторую последовательность. – Открытие это произвело на меня весьма тягостное впечатление, но я тотчас переменил с больною образ обхождения и не стал беспрестанно ей противоречить.

– Так, следовательно, он в Крыму? – спросил я, как бы с участием.

– Да... но по ночам здесь бывает... – сказала больная таинственным, гробовым голосом, – и вот доказательство его присутствия!! – При этих словах несчастная приподняла черную бархатную ленточку, которую она постоянно носила на шее, и указала на маленькое кровавое пятнышко, весьма похожее с виду на царапину.

– И давно он вас посещает? – спросил я, подделываясь под мысли больной.

– Давно... более полутора года, в первый раз в ночь с 27 по 28 Августа..

– Нужно вам сказать, – заметил Иван Петрович, прерывая рассказ, – что ночь 27-го августа в особенности мне памятна. У меня одного перебывало под ножом до сотни нижних чинов и 6 офицеров, в том числе один по ошибке или по усердию солдат, потому что он был вовсе без головы и, следовательно, не нуждался в моей помощи.

Я весьма живо помню, что обезглавленное это тело чрезвычайно меня поразило, тем более что тут прибежал денщик убитого, узнал его по одежде, по сапогам и по обручальному кольцу и не отстал от меня, пока я не *вырезал окостеневшего* на обломке эфеса пальца с обручальным кольцом, под тем предлогом, что *покойник дал будто бы клятвенное обещание отослать его невесте* в случае смерти. Все это быстро представилось моему воображению и у меня невольно сорвалось с языка:

– Так не поручик ли С... был ваш жених? – сказал я неосторожно.

Больная вздрогнула всем телом, как-то страшно вытянулась под одеялом и закрыла глаза.

Я дал понюхать ей нашатырного спирта, натер виски уксусом — и, дав немного отдохнуть, спросил:

– Что ж вы чувствуете во время посещения вашего жениха?

Больной не хотелось отвечать на этот вопрос; она долго заминалась, как будто стыдилась, однако же сказала наконец:

– Сначала я чувствую как бы озноб по всем членам, потом левая сторона начинает холодеть, точно от прикосновения холодного, ледяного тела и наконец я чувствую, что горячее жало вонзается мне в шею и сосет кровь в течении нескольких минут, до тех пор, пока я не засну.

Я хотел было возразить и доказать по пунктам, что все это ни что более, как дела расстроенного воображения... Но больная вдруг задрожала и тихо проговорила: «*Тс! приближается!!...*»

Водворилось глубокое молчание! Без прибавления, можно было слышать биение и моего и ее сердца. Я взял больную за левую руку, дотронулся до ног и действительно заметил ощутительное охладение кожи.

Зрачки, уставленные на один пункт, подвергнулись сильному расширению и наконец больная закрыла глаза и произнесла весьма явственно: «*Er ist da*»...*

Тут Иван Петрович опять вскочил со стула и стал прохаживаться по комнате, повторяя:

– Глупо, сам чувствую, что глупо; все игра воображения, больше ничего; – но признаюсь, что в то время меня просто мороз по коже подирал! — И что это ей вздумалось сказать по-немецки: «*Er ist da*»?

Погодя немного, Иван Петрович продолжал свой рассказ:

– Вскоре больная уснула или, по крайней мере, несколько успокоилась и лежала смирно.

Я разбудил старуху няню, а сам вышел в соседнюю комнату – дух перевести, что называется. – Я не пуглив, но после предыдущей сцены каждый ночной звук,

треск мебели, отпавшая штукатурка, скрип дверей — все это казалось мне проявлением другого фантастического мира.

На диване, на котором я располагал отдохнуть немного, я нашел книгу, пояснившую мне многое касательно нравственного состояния несчастной Анны Карловны.

Книга эта заключала в себе немецкий перевод творений Байрона. – Рассказ, под названием «Вампир», отмечен был смятым письмом, в котором полковой командир покойного поручика С... подробно описывал Карлу Карловичу геройскую смерть молодого человека. – Каким образом письмо это попало в руки Анны Карловны?... не знаю; но очевидно, что страшное описание глубоко поразило нервную ее систему в то самое время, как воображение ее (весьма склонное к фантастическому, чему свидетельствует чтение Шведенборга) наполнено было нелепостями вампиризма. Приключившийся прыщик на шее и сдернутый, вероятно, во время сна, увеличил аберрацию. — От этого столкновения произошло *локальное* помешательство, т. е. *липомания* или *мономания*. — За определением, за классификацией, за названием у нас дело не станет. На этот счет наука у нас мастерица; но объяснить исходную точку и *процесс* разного рода чувственных *аберраций*, при которых человек слышит, видит, чует и осязает предметы невидимые и не ощутительные для других людей, дело до сих пор невозможное для науки.

На другой день после печального моего открытия (насчет Анны Карловны), я, с согласия Карла Карлыча (которому, разумеется, все рассказал), поднял на ноги всех здешних психиатров. – Много было по этому случаю прений, рассуждений, умных выводов – но увы! все единогласно решили, что совершенный упа-

док сил больной девушки не подавал надежды на благотворную реакцию; и действительно, в тот же день началась агония несчастной умирающей.

Авдотья Федотовна, которой принуждены наконец были объявить об опасном положении ее дочери, совсем растерялась и только повторяла беспрестанно: «Господи Боже мой! как же это могло случиться??!»

Карл Карлович, совершенно погруженный в глубокую, безвыходную грусть, не отходил от дочери.

К вечеру больную приобщили святых тайн, и наконец соборовали маслом. – Для исполнения последнего таинства, она потребовала, чтобы ее перенесли в столовую, уверяя, что там будет и просторнее, и приличнее.

Перемещение это походило уже как нельзя более на похороны, но больная, казалось, этого не замечала, она довольно спокойно озиралась вокруг и только изредка шептала мне на ухо: «*Er ist da – immer da*»*.

Смерть быстро приближалась, но противодействия или усилия со стороны умирающей не было вовсе заметно. – Без борьбы смерть прибирала в руки свою жертву.

Явление весьма редкое и в высшей степени замечательное по оттенкам, которые в подобном случае наблюдаются в выражении лица умирающего. – Сначала заметно только выражение страдания и покорности, потом обозначается нетерпеливое ожидание и наконец торжественное спокойствие.

Кто сумел разумно проследить на лице спокойно умирающего вышеупомянутые оттенки – того не собьют с толку никакие философствования в мире.

На восьмом евангелии пульс больной прекратился; на девятом лицо ее приняло выражение *торжественного спокойствия* и когда священник поднес ей животворящий крест – то ее уже не было в живых....

Иван Петрович заключил свой рассказ целой диссертацией о душевных болезнях вообще и о нелепости *вампиризма* в особенности; передать всего невозможно – и я скажу только, что старик Фока появлялся с *горяченьким* бесчисленное множество раз – и что когда мы расстались с Иваном Петровичем, то все девять свечей, зажженные им в *мракофобинском* припадке, догорели почти до конца.

Р....



Григорий Данилевский

МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА

Это случилось в прошлом, XVIII веке, в царствование Екатерины II. В большом великорусском селе скончался скоропостижно зажиточный, одинокий крестьянин, слывший за знахаря и упыря. «Беда, – стали толковать крестьяне, – при жизни поедом всех ел; не даст покоя и после смерти». Его положили в гроб, вынесли на ночь в церковь и выкопали для него яму на кладбище. Похороны ожидались «постные»: не только соседи жутко посматривали на опустевшую избу покойника, даже более храбрый церковный причт почесывался, собираясь его отпевать. А тут еще подошла непогода, затрещал мороз, загудела метель по задворкам и в соседнем дремучем лесу. Первый из причта не выдержал, очевидно струсил, дьякон. Пришел к священнику, стал проситься накануне похорон в дальнее село, навестить умирающую тещу. «Как же ты едешь? – уперся поп. – Кто же будет помогать при отпевании? нешто не знаешь, какая мошна? родичи, чай, вот как отблагодарят», – «Не могу, отче, ради Господа, отпусти».

Отпустил поп дьякона, остался с одним дьячком. Дьячок прозвонил до зари к заутренней, отпер церковь, вошел туда с попом и зажег свечи. Началась служба в пустой, холодной, старой церкви.

Стужа ли замкнула все двери села, покойник ли пугал старух и стариков, только никто из прихожан не явился к заутренней.

Дьячок читает молитвы, напевает, пряча нос в шубейку, а сам, вторя священнику, возглашавшему из

алтаря, все посматривает на мертвеца, лежавшего в гробу, под пеленой, среди церкви.

Заря еще не занималась. На дворе была непроглядная тьма. В окна похлестывал уносимый метелью снег, на колокольне что-то с ветром выло, и скрипели петли ставней и наружных дверей. Желтенькие, крохотные свечи чуть теплились у темных, древних образов.

И вдруг дьячку показалось, что убогий, потертый церковный покров шевельнулся на мертвеце. Причетник потер глаза, подумал: «С нами крестная сила!» – и опять стал читать по книге. А глаза так и тянет снова посмотреть на средину темной, холодной церкви.

Не вытерпел дьячок, глянул и видит: у мертвеца шевелится борода, будто он дышит, уставился на царские двери.

– Батюшка! – сказал дьячок с клироса, остановясь читать. – У нас неладно.

– Что там?

– Мертвец ожил, страшно мне.

– Полно, неразумный, молись о Господе! – ответил поп, продолжая службу.

Дьячок отвернулся, углубился в книгу. Долго ли он там читал, неизвестно. На дворе как будто стало светать.

«Ну, слава тебе, Боже, скоро крикнет петух», – подумал дьячок в ту минуту, когда священник готовился стать в царских вратах, читая отпуск с заутренней.

Дьячок глянул опять на середину церкви, вскрикнул в ужасе не своим голосом и лишился чувств...

Он ясно перед тем увидал, как потом рассказывал всему селу, что мертвец поднялся на одре, опростал руки из-под могильного покрова, посидел чуточку в гробу и стал вставать – бледный, посинелый, с страшною, трясущеюся бородой. Священник испуганно и безмолвно глядел на него из алтаря. Мертвец, с рас-

простертыми руками, раскрыв рот, шел прямо к попу...

Когда на дворе совсем рассвело и народ, спохватясь долго отсутствующего причта, вошел в церковь – перед всеми предстала страшная картина.

Дьячок без памяти, с отнявшимся языком, лежал ниц у клироса. В царских вратах лежал навзничь бездыханный, с перегрызенным горлом, священник, а в гробу – неподвижный, бледный мертвец, с окровавленными губами и бородой.

Вопли и плач поднялись в селе. Убивалась попадья, чуть не умерла от горя и дьячиха. Но последнюю отлили водой; у дьячка вернулась речь, и с нею и память. Он все рассказал, как было.

– Упырь, людоед! – решили крестьяне миром. – Это он загрыз батюшку. Не хоронить его на кладбище, а в лесу, и припечатать его не отпускной молитвой, а осиновым колом.

Отвезли знахаря-мертвеца в самую чащу леса, вырыли там другую яму, положили туда упыря и пробили его насквозь в грудь осиновым колом: теперь не будет портить сатана неповинных людей.

Священника похоронили с честью, попадью щедро одарили, а церковь начальство, за такой святотатственный казус, до новых распоряжений впредь, запечатало.

Остались прихожане без попа и без церкви. Ездили они, просили. Консистория все собиралась произвести следствие. Благочинный брал посильные приношения, обещал уладить дело, но церковь не отпечатывали. Крестьяне собирались писать прошение, но не знали, куда подать.

Дело случайно дошло до сведения Екатерины. Слушая доклад генерал-прокурора, кн. Вяземского*, о раз-

ных происшествиях, она обратила внимание на случай с упырем.

– Что же ты думаешь об этом? – спросила императрица докладчика.

– Казус необычный, – ответил генерал-прокурор, – – он коренится в суевериях грубой черни.

– Хороши суеверия... перегрызенное горло! ведь священника-то тоже схоронили. Отложи, князь, это дело вон на тот ломберный стол и позови ко мне Степана Иваныча Шешковского* хоть сегодня же вечером, перед оперой...

Явился к императрице знаменитый сыщик, глава и двигатель тайной экспедиции, Шешковский.

– Что благоугодно премудрой монархине? – спросил тайный советник и владимирский кавалер Степан Иванович, согнувшись у двери, с треуголом под мышкой и шпагой на боку.

– А вот, сударь, бумажка, прочти и скажи свое мнение.

Шешковский отошел с бумагой к окну, прочел ее и, подойдя к Екатерине, замер в ожидании ее решения.

– Ну, что? – спросила она. – Любопытная история – поп, загрызенный мертвецом?

– Зело любопытная, – ответил сыщик, – и где же, в храме!

– То-то в храме. И консистория, запечатав церковь, предлагает дело предать воле Божьей, а прихожанам, освятив храм, поставить нового попа...

– Попущение Господне, за грехи, милосердая монархиня... Как иначе и быть! – произнес, набожно подняв глаза, Шешковский.

– Ну, а я – грешный человек – думаю, что здесь иное! – сказала императрица и, взяв перо, написала резолюцию на докладе: «Ехать в то село особо назна-

ченному мною следователю и, тайно дознав истину, доложить лично мне».

Екатерина дала Шешковскому прочесть свое решение.

– Кого, ваше величество, изволите командировать? – спросил Степан Иваныч.

– Кому же, государь мой, и ехать, как не тебе? – ответила императрица. – Держи все в секрете, как здесь, так и в губернии, – и все мне доподлинно своею особой разузнай.

Шешковский поклонился еще ниже.

– Великая монархиня! мое ли то дело? с бесами, прости, да с колдунами, я еще не ведался и не знаю с ними обихода... ведь они...

– Вот в том-то и дело, батюшка Степан Иваныч, что нынче век Дидерота и Руссо, а не царевны Софии и Никиты Пустосвята... Мне чудится, я предчувствую, убеждена, что здесь все всклепано на неповинных, хоть, по-твоему, может, и существующих бесов и упырей.

Шешковский, с именным повелением Екатерины в кармане, переодевшись беспоместным дворянином, полетел с небольшою поклажей по назначению.

В губернии он оставил чемодан с запасною форменною одеждой на постоялом в уездном городке; сам переоделся вновь в скуфейку* и рясу странника и пошел по пути к указанному селу. Верст за двадцать до него, – то было уж второе лето после события с священником и упырем – его догнал обоз с хлебом.

– Куда едете?

– В Овиново; а тебя Господь куда несет?

– В Соловки.

– Далекий путь, спаси тебя Боже, – чай притомился?

– Уж так-то, православные, ноженьки отбил.

– Ну садись, подвезем.

Подвезли извозчики до Овинова, а за ним было Свиблово, то самое село, где случилась история в церкви. Везут странника мужики и толкуют о свибловских: всех знают, всех хвалят, мужики добрые, не раз хлебом у них торговали.

– Что же, храм Божий есть у них?

– Нетути, закрыли из-за Господней немилости, благочинный скоро обещает открыть, да дорожится.

– Кто же будет попом?

– Два дьякона ищут, ихний и овиновский.

–Кого же хочет мир?

– Овиновского, подобрее будет; ихний – злюка и с женой живет не в ладах. Вон и его хата, на выгоне, под лесом, – выселился за реку – держит огород.

Странник встал у околицы, поблагодарил извозчиков, выждал вечера и зашел к дьякону. Хозяина не было дома, дьяконица пустила его в избу. Ночью странник расхворался. Лежит на полатях, охает, не может дальше идти. Возвратился дьякон, обругал жену: «Пускаешь всякую сволочь, еще помрет, придется на свой счет хоронить». Услышал эти речи странник, подозвал дьякона, отдал ему бедную свою кису*, просит молиться за него, а не одужает – схоронить по христианскому обряду. Принял дьякон убогую суму богомольца, говорит: «Ну, лежи, авось еще встанешь». День лежал больной, два, слова не выговорит, только охает потихоньку. Забыл о нем дьякон, возвратился раз ночью с огорода и сцепился с женой – ну ругаться и корить друг друга.

– Да ты что? – говорит дьяконица. – Ты убийца, злодей.

– Какой я убийца, сякая ты, такая! Я слуга божий, второй на клиросе чин... а поможет благочинный, буду и первым!

– Убийца, ты перегрыз горло попу... сам признавался...

Далее странник ничего не мог расслышать. Хозяева вцепились друг в друга и подняли такую свалку, что хоть вон неси святых. К утру все угомонилось, затихло. Странник днем объявил, что ему лучше, поблагодарил за хлеб-соль и пошел далее...

Возвратясь в город, он явился к воеводе, прося о себе доложить. Ему ответили, что его высокородие изволит кушать пунш и принять не может. Странник потребовал непромедлительного приема.

Его ввели к воеводе, восседавшему у самовара за пуншем.

– Кто ты, сякой-такой, и как смел беспокоить меня?

Странник вынул и показал именной указ императрицы.

В тот же день в Свиблово поскакала драгунская команда. К воеводе привезли дьякона, дьяконицу и дьячка.

Дьякон не узнал сперва в ассистенте воеводы гостившего у него странника. Шешковский облекся в форменный кафтан и во все регалии. Дьякон на допросе заперся во всем; долго его не выдавала и дьяконица. Но когда Шешковский назвал им себя и объявил дьяконице, что, хотя пытка более не практикуется, он, на свой страх и по личному убеждению, имеет нечто употребить, и велел принести это «нечто», то есть изрядную плеть, веревку и хомут, и напомнил ей слышанное странником, – баба все раскрыла: как дьякон, по злобе на попа, вместо поездки к теще, переждал в лесу, проник в церковь, лег в гроб, а мертвеца спрятал в складках пелены под одром, напугал дьячка и задушил, загрыз священника, а мертвецу выпачкал кровью рот и бороду и скрылся.

– Что скажешь на сию улику твоей жены? – спросил Шешковский.

Дьякон молчал.

– А ну, ваше высокородие, – подмигнул Степан Иванович воеводе.

Двери растворились: в соседней комнате к потолку был приправлен хомут и стоял «нарочито внушительного вида» добрый драгун с тройчатой плетью.

Дьякон упал в ноги Шешковскому и во всем покаялся.

Его осудили, наказали через палача в Свиблове и сослали в Сибирь. Церковь отпечатали, овиновского дьякона, женив предварительно на дочери загрызенного священника, посвятили в настоятели свибловского прихода. Местного благочинного расстригли и сослали на покаяние в Соловки.

– Ну что, не я ли тебе говорила? – произнесла Екатерина, встретив Шешковского. – А ты, да и ты – предать воле Божьей, казус от суеверия грубой толпы. Мертвец-убийца! ну, может ли двигаться, а кольми паче еще злодействовать покойник, мертвец?

– Так, великая монархиня, так, мудрая и милостивая к нам мать! – ответил, низко кланяясь, Шешковский. – Ты всех прозорливее, всех умней.

Он еще что-то говорил. Екатерина стала перебирать очередные бумаги, его не слушая. Грустная и презрительная улыбка играла на ее отуманившемся лице...

Александр Амфитеатров

ОН

Постойте, дайте припомнить... Я вам все расскажу, все без утайки, – только не торопите меня, дайте хорошенько припомнить, как это началось...

Простите, если мои слова покажутся вам странными и дикими. С меня нельзя много требовать; вы, ведь, знаете: мои родные объявили меня сумасшедшею и лечат меня, лечат... без конца лечат! Возили меня и к Кожевникову в Москву, и к Шарко в Париж*, пользовали лекарствами, пользовали душами, инъекциями, гипнотизмом... чем только не пользовали! Наконец, всем надоело возиться со мной, и вот посадили меня сюда – в эту скучную лечебницу, где вы меня теперь видите. Здесь ничего себе, довольно удобно; только зачем эти решетки в окнах? Я не убегу; мне все равно, где ни жить: здесь ли, на свободе ли, я всюду одинаково несчастна, а, между тем, вид этих бесполезных решеток так мучит меня, дразнит, угнетает...

Может быть, мои родные правы, и я в самом деле безумная, – я не спорю. Мне даже хотелось бы, чтобы они были правы: то, что я переживаю, слишком тяжко... Я была бы счастлива сознавать, что моя жизнь – не действительность, а сплошная галлюцинация, вседневный бред, непрерывный ряд воплощений нелепой идеи, призраков больного воображения. Но я не чувствую за собою права на такое сознание. Память моя при мне, и я мыслю связно и отчетливо. Меня испытывали в губернском правлении; чиновники задавали мне формальные вопросы, и я отвечала им

здраво, как следует. Только, когда губернский предводитель спросил меня: помню ли я, как меня зовут? – мне стало смешно. Я подумала: ему ужасно хочется, чтоб я ответила ему какой-нибудь дикостью, хоть в чем-нибудь проявила свое безумие, – и, на смех старику, сказала: меня зовут Марией Стюарт. Этим я с ними и покончила.

Но вы не чиновник, не допрашиваете меня, не надоедаете мне, – следовательно, и у меня нет причин смеяться над вами, дурачить вас бессмысленными выходками. Разумеется, я не Мария Стюарт, а просто Ядвига С., младшая дочь графа Станислава С. Лета свои я затрудняюсь сказать. Видите ли: когда со мной началось это, мне было шестнадцать лет, но с тех пор дни и ночи летят таким порывистым беспорядочным вихрем... я совсем потеряла в них счет. Иногда мне кажется, будто мое безумие продолжается целую вечность, иногда – что от начала его не прошло и года.

Мой отец известный человек на Литве. Близ К. у нас есть имение – богатое, хоть и запущенное. Мы ездим туда на лето и проводим два месяца в ветхой башне, где родились, жили и умирали наши деды и прадеды. Хлопы зовут нашу башню замком, и точно: она – последний остаток роскошного здания, построенного в XVI веке знаменитым нашим предком, литовским коронным гетманом. Оно простояло два века; пожар и пороховой взрыв в погребах разрушили его в начале текущего столетия почти до основания.

Гетман умел выбрать место для замка – у подножия высокой лесистой горы, в крутом колене светлой речки. Вдоль по берегу, вправо и влево, видать остатки древнего городища, когда-то здесь расположенного: низкие кирпичные стены с сохранившимися кое-где бойницами... Они сплошь обросли мохом, а из иных щелей и расселин поднялись красивые молодые бере-

зы и елки. Я, сестра моя Франя и наша гувернантка пани Эмилия любили бродить между развалинами. Они поднимаются от берега высоко по горе и завершаются на ее вершине тремя черными толстыми стенами: на одной и теперь еще можно разглядеть сквозь грязь и копоть, остаток фрески – ангела с мечом. Вблизи стен валяется много могильных плит с латинскими надписями. На некоторых видны иссеченные кресты, на других короны и митры, а на иных даже грубые рельефные изображения людей в церковном облачении. Когда-то здесь стоял бернардинский монастырь, зависимый от нашего рода, покровительствуемый нами. Он упразднен в прошлом веке. Во время второго повстанья руины служили приютом для небольшой банды: поэтому русские пушки помогли времени в разрушительной работе над осиротелым зданием и сразу его покончили.

Как вы уже слышали, мне минуло шестнадцать лет. Я была очень хороша собою – не то, что теперь. Давно ли, кажется, мой отец, когда бывал в духе, клал на мою русую голову свои руки и декламировал с комической важностью знаменитые стихи нашего бессмертного поэта:

...Nad wszystkich ziem branki, milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak młode koteczki,
Lice bielsze od mleka, z czarną rzęsą powieka,
Oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki*.

А как-то на днях я посмотрелась в зеркало: я ли это? Костлявое, зеленое, словно обглоданное лицо; под глазами на висках провалы, челюсти выдались; уши стали большие и бледные. Как я гадка!

Он довел меня до этого. Он – странное, непонятное существо, ни человек, ни демон, ни зверь, ни призрак...

он, ежедневно налагающий на меня свою тяжелую руку; он, в чьей губительной власти моя душа и тело; он, кого я днем боюсь и ненавижу, а ночью люблю всею доступной моему существу страстью; он, неумолимо ведущий меня к скорой ранней смерти... Ах! да что мне болезнь, безумие, смерть! Никакой ужас видимого мира не испугает меня. Все, что люди зовут несчастием, кажется мне и слабым, и ничтожным, когда я сравню их представления с тайнами моей жизни... А все-таки порою я со стыдом уверяюсь, что тайны эти дороги мне, как сама я, и лучше мне с жизнью расстаться, – только бы не с ними! Индусам любо погибать под тяжелыми колесами гордой повозки божественного Яггернаута*: моя беспощадная судьба катит на меня грохочущую колесницу смерти, управляемую *Им*, и у меня нет ни силы, ни воли посторониться, и я чуть не с сладострастным трепетом жду момента, когда пройдут по мне губительные колеса. Может быть, в этом-то и заключается мое помешательство.

Зачем бишь я рассказывала вам про старое бернардинское кладбище? Да!.. ведь, именно там-то я и встретила его впервые, там и началось это... А как? Постойте... тут у меня темно в памяти...

Зачем я взошла на гору, что там искала, – право, не припомню, да это и не важно: так, нечаянно, без цели взошла. Наступал закат, большое, багровое солнце плыло над западными холмами: под его косыми лучами развалины словно нарумянили свои морщины и позолотили облепивший их седой мох. Я стояла между двумя молодыми тополями и думала: напрасно я отбилась на прогулке от Франи и гувернантки; пани Эмилия будет на меня сердиться, и мне надо поскорее их найти. Тут я заметила, что я не одна на горе; на разбитой плите у западной стены разрушенного костела сидел человек.

Он удивил меня: кругом на несколько десятков верст я знала всех, кто носил панское платье, – а эту длинную худощавую фигуру, одетую в старомодный черный сертук, с долгими полами, я никогда не встречала; лицо незнакомца было затемнено надвинутой на брови шляпой – тоже устарелой моды – в форме узкого высокого цилиндра. Он сидел, далеко вытянув перед собой худые ноги в дорожных сапогах с отворотами; его руки, как плети, – висели, бессильно опущенные на плиту. В позе фигуры незнакомца было нечто неустойчивое, непрочное, что неприятно действовало на глаз, но чем именно, – объяснить вам не умею. Я решила, что это какой-нибудь турист, – они иногда заглядывают в наши края, – и из любопытства стала следить за ним. Он не замечал меня – по крайней мере, несколько минут он ни одним движением не проявил признаков жизни. Солнце зашло. Когда красный шар ушедшего спать светила совсем растаял на границе неба и земли, незнакомец ожил. Он пошевелился, потянулся, как только что пробудившийся человек, глубоко вздохнул и хотел подняться с места, но не мог и снова опустился на плиту. Тогда он опять вздохнул и, опершись на камень руками, откинулся на спину, потом наклонил туловище обратно в коленам, качнулся вправо, качнулся влево – словно хотел размять затекшие от долгого неподвижного сидения члены и ради того делал гимнастику. Эти упражнения выходили у незнакомца так легко, точно он совсем не имел костей. Качался он долго, и чем далее, тем быстрее. Неутомимость и чудовищная гибкость незнакомца сперва изумляли меня, потом стали смешить... Мне захотелось разглядеть чудака поближе. Я сделала несколько шагов вперед, и теперь стала уже прямо против него, в какой-нибудь сажени расстояния, но он на меня все-таки не обратил внимания. Когда же я сбоку

заглянула в его лицо, то смех мой, уже готовый слететь с губ, застыл: у незнакомца были закрыты глаза, а на желтом немолодом уже, но безбородом и безусом лице его лежало выражение человека, спящего крепким, но мучительным сном, полным тяжелых грез и видений, – сном, от которого хочется всей душою, но нет сил пробудиться. Контраст сонного лица с подвижностью туловища незнакомца был странен и жуток. Страх обуял меня; я вскрикнула.

В то же мгновение незнакомец перестал качаться, как будто остановленный невидимой рукой. Щеки его задрожали, глаза медленно открылись и вонзили в мое лицо внимательный, острый взгляд. Они были почти круглые, светлокарего, чуть не желтого цвета, как у совы или кошки, и горели тем же хищным и хитрым огнем. Под взглядом их я будто вросла в землю – ноги меня не слушались и не хотели бежать, хотя панический страх, внезапно внушенный мне пробуждением странного создания, громко требовал того. Бессознательно я уставила свои глаза прямо в глаза незнакомца, и тотчас же мне почудилось, будто своим неприятным взором он проник мне глубоко в душу, читает в ней, как в книге, и по праву властен над нею. Между тем, проклятые глаза расширились, округлились еще больше, сделались яркими, как свечи... в них явилось что-то манящее, зовущее и повелительное; я инстинктивно чувствовала, как опасно мне подчиняться этому зову, как необходимо напрячь все силы души, чтоб отразить его победоносное влияние, и в то же время не находила таких сил: сознание протестовало и возмущалось, а воля была как скованная, не слушалась сознания. Это было похоже на летаргию.

Незнакомец медленно простер ко мне руки и трижды потряс ими в воздухе, – и я против воли сделала то же. Затем он стал приближаться ко мне, и с каж-

дым его шагом я тоже делала шаг навстречу ему, так же, как он, с вытянутыми пред собою руками, подражая каждому его движению. Страх мой, по мере приближения странного существа, замирал, переходя постепенно в чувство нового для меня – и мучительного, и приятного вместе – беспокойства, томившего меня и счастьем, и тоскою. Мы шли, пока не встретились лицом к лицу, грудь к груди. Руки незнакомца опустились мне на плечи, голова моя упала ему на грудь – мне показалось, что кровь в моих жилах превратилась в кипяток и понеслась в моем теле разъяренным горячим потоком, стремясь вырваться на волю, либо задушить меня. То был непостижимый прилив неведомой страсти, и если я любила кого-либо больше себя, света, жизни, так именно этого незнакомого человека в эти таинственные минуты сладостного безумия.

Я очнулась в своей комнате, окруженная хлопотами родных. За час пред тем меня нашли у ворот нашего дома, без чувств.

Человек, в чью жизнь непрошено-негадано врывается чудесное начало, всегда бывает подавлен и угнетен; быт его резко и грубо выбивается из русла своего течения наплывом совсем новых чувств, дум, ощущений и настроений. Как будто показан вам уголок чужого мира и столько непривычных впечатлений ворвалось из этого уголка в ум и душу, что за пестротою и роскошным разнообразием их не осталось ни охоты к серой обыденной действительности, ни надобности в ней. Вы видели сон, убивший для вас правду жизни, охвачены грезой, сделавшейся для вас большею потребностью, чем есть, пить, вам показано призрачное будущее, и стремление к нему давит в вашем сердце все желания и страсти настоящего, память прошлого. В этом неопределенном тоскливом стремлении вы бу-

дете безотчетно рваться к чему-то, а к чему, – сами не знаете, но неведение цели не остановит вас, а еще больше подстрекнет, разгорячит и, в упорной погоне за мечтой, мало-помалу окончательно оторвет от жизни. Существование человека, ступившего одной ногой за порог естественного, превращается в сплошной экстаз, в безумную смесь хандры и пафоса, восторгов и отупения... Все становится презренным и излишним, нужною остается только озадачившая воображение тайна.

Так было со мною. Моя веселость пропала, моя жизнь погасла. Молча, запершись в самой себе, влачила я свое существование после вечера на горе, свято веруя, что предо мною прошло существо иного мира... во сне или наяву? – что мне за дело?.. Повторяю: в часы мучительных раздумий мои желания так часто менялись, так часто от проклятий *ему* я переходила незаметно к сладким мечтам *о нем*; и мне то хотелось, чтоб *он* не существовал, был лишь причудливым призраком лихорадочного сна, то я жаждала видеть его, как нечто действительное, хотя и непостижимое; способное являться очам живого человека, умеющее любить, могущее быть любимым. Когда приближался вечер, я делалась сама не своя. Мне надо было бороться с собою, как с лютым врагом, чтобы не покориться таинственному могучему зову, доносившемуся ко мне откуда-то издалека и манившему меня... я знала куда: на гору, к западной стене. Но я не шла. У меня еще была кое-какая воля, и оставалось сознания настолько, чтобы чувствовать в роковом зове нечто чуждое человеку, волшебное и преступное. В такие часы я забивалась в какой-нибудь уединенный уголок и, со страшно бьющимся сердцем, трясясь всем телом, стуча зубами, как в лихорадке, читала молитвы и ждала, – авось отлягут, от души отхлынут смутные грезы.

Я не пошла навстречу к *нему*, – тогда *он* пришел за мною. В одну ночь я проснулась как будто от электрического удара, и первым, что я увидала, были два знакомые мне огненные кошачьи глаза. Лица *его* не было видно; глаза казались поэтому врезанными прямо в стену и долго смотрели на меня, не мерцая и не мигая. Я даже не успела испугаться: так быстро охватило меня уже испытанное оцепенение... Тогда он отделился от стены, словно прошел сквозь нее, наклонился надо мною, и я снова впала в тот сладкий обморок, что охватил меня на горе.

Мне снились переливы торжественной музыки, похожие на громовые аккорды исполинских арф, перекликавшихся в необозримых пространствах. Звуки поднимали и уносили меня вверх, как крылья. Кругом все было голубое, и в безбрежной лазури колыхались предо мною какие-то не то птицы, не то ангелы – создания с громадными белыми крылами, подвижные и легкие, как пушинки при ветре. Золотые метеоры сыпались вокруг меня. Сверху, помогая и отвечая арфам, гудел серебряный звон – и я купалась в море красок и звуков. То было недосягаемое, неземное блаженство – спокойное, теплое, светлое – и я думала: «как хорошо мне, и как я счастлива!» В это время что-то больно укололо меня в сердце... Я вскрикнула, светлый мир покрылся черной тьмой, будто в нем сразу потушили солнце, и я очнулась.

Заря глядела во мне в окно. Я была одна.

С тех пор каждую ночь я видела *его*, и каждую ночь уносили меня куда-то далеко от земли его объятья, и каждую ночь пробуждалась я одиноко от острого удара в сердце. Дико и мрачно проводила я свои дни, выжидая ночи. Вялая, скучная, молчаливая, я возбудила опасения отца. Доктора нашли у меня малокровие, начали поить железом, мышьяком, какими-то водами.

Скоро я сделалась так слаба, что едва двигалась по комнатам, головокружение владело мною по целым дням... я чувствовала, что еще месяц, и я буду лежать на столе...

Мне стало жаль моей молодой жизни, и я хотела спасти себя. Однажды я преодолела влияние моего врага: не поддалась его оцепеняющим глазам...

– Сжалься, – простонала я, – кто бы ты ни был, сжалься и не губи меня... Твои ласки сжигают меня. Я счастлива ими, но они убийственны. Ты взял всю кровь из моего сердца. Взгляни, как я жалка и слаба. Пощади меня – я скоро умру. И в ответ я услыхала впервые его голос – шум, похожий на шелест сухих листьев, взметенных осенним вихрем.

– Не бойся умереть. Ты моя и соединена со мною. Ты не умрешь, как я, и будешь жить, как я. Ты поддержала мой непонятный тебе век ценою своей жизни, а потом ты, как я, пойдешь к другому живому существу и сама будешь жить его жизнью. Как я, узнаешь ты холодные, бесстрастные дни покоя и ничтожества; как мне, улыбнутся тебе полные наслаждений и безумных восторгов вечера. Золотая луна будет тебе солнцем, и синяя ночь – белым днем... Люби меня и не бойся умереть!

И в первый раз я почувствовала на своих губах его холодные губы, и в этом долгом поцелуе он выпил мою душу.

Больше мне нечего рассказать вам, потому что на другой же день отец, поговорив со мной, выслушав мои несвязные ответы на его простейшие вопросы, со слезами вышел от меня... а я поняла, что меня считают потерявшей рассудок. Меня увезли из замка, стали развлекать, показали мне Европу... Напрасно! если меня не могут избавить от *него*, то незачем было и оставлять К.! ни путешествие, ни лекарства, ни молитвы мне не помогут!.. И кто же в силах прогнать

его, таинственного, неуловимого, никем кроме меня не видимого? Никто!.. и я погибну его жертвой, и неземной страх охватывает меня, когда я припоминаю его темные слова. «Ты будешь жить моей жизнью»... Что значит это? кто он?.. неужели же народные сказки говорят правду, и он... о, нет, это было бы слишком ужасно! я не хочу, я не хочу... У меня нет сил спросить у него прямого ответа; глаза его так жестоки, злобны и мстительны, когда хоть мысль о том мелькнет в моем робком уме...

Прощайте, однако. Солнце садится. Он приходит ко мне всегда, как только погасает последний луч на куполе вон той большой церкви, и сердится, если застает меня не одну. Уходите, пожалейте меня. Я уже чувствую дыхание ветра, предшествующего его приближению, и привычная дрожь пробежала по моим членам. Сейчас вон там в углу засветятся его ненавистные глаза ...Уходите! время!..

Вот он... идет... идет... идет...



Александр Амфитеатров

ИСТОРИЯ ОДНОГО СУМАСШЕСТВИЯ

В маленьком красивом театре города Корфу ставили для открытия сезона Вагнерова Лоэнгрина*.

Торжество «премьеры» собрало на спектакль весь местный «свет» – корфиотов постоянных и временных, здоровых островитян и болеющих иностранцев. Впрочем, не все «болеющих». В первом ряду кресел, прямо позади капельмейстерского места, сидели два господина, столь цветущего вида, что на них, в антрактах оперы, с любопытством обращались бинокли почти из всех лож. Особенно нравился младший из двух – огромный, широкоплечий блондин, с пышными волнами волос, зачесанных назад, без пробора, над добродушным, открытым лицом, с которого застенчиво и близоруко смотрели добрые иссера-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за немца; сразу бросался в глаза мягкий и расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был русский, из Москвы, по имени, отчеству и фамилии Алексей Леонидович Дебрянский. Сосед его, тоже русский, темно-русый, в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жиже сложением, зато брал верх над соотечественником смелою свободою и изяществом осанки, чего москвичу сильно не хватало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо второго русского – скорее эффектное, чем красивое, – ожив-

лялось быстрыми карими глазами, умными и проницательными на редкость; видно было, что обладатель их – тертый калач, бывалый и на возу, и под возом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать – лучше и не браться. Наружность интересного господина соответствовала репутации, которая окружала его имя: это был граф Валерий Гичовский, знаменитый путешественник и всесветный искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних – мудрец, для других – опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга.

Дебрянский всего лишь утром прибыл на Корфу с пароходом из Патраса, встретил графа в кафе на Эспланаде, познакомился, разговорился, счелся общими знакомыми – и даже чувствовалось, что они сдружатся. Дебрянский – был очень счастлив, что случай послал ему навстречу такого опытного путешественника, как Гичовский. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле, – врачи предписали ему провести, по крайней мере, год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами, в качестве знатного иностранца, и не хотел, и не мог.

Что он болен, Дебрянский, по выезде из Москвы, никому не признавался, и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соответственно праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развилась на весьма необыкновенной почве.

Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых бес-

пардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша Первопрестольная. Психоз Петрова, возникнув на люэтической подготовке*, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного. У него завязался любовный роман с одною опереточною певицею, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов...

Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт, а – покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился – подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова, Анна Перфильевна, услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали двери и – в рабочем кабинете Петрова, на ковре – нашли Анну мертвою, с раздробленным черепом; она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка – «прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как, во время одной блестящей своей защиты в провинции, он сманил эту несчастную – простую перемышльскую мещанку. Что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе, Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было – как видно – перед смертью, но не конченую. «Что ж? Женитесь, жени-

тесь... а я вас не оставлю, не оставлю»... – писала покойная и – больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросало кляксы.

Петрову не хотелось расставаться с квартирою, хотя и омраченною страшным происшествием: его связывал долгосрочный контракт, с крупною неустойкою. Однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал: жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив на помин грешной души покойной, задремал у себя в кабинете. И вот видит он во сне: вошла Анна, живая и здоровая, – только бледная очень и холодная, как лед, – села к нему на колени, как, бывало, при жизни, и говорит своим тихим, спокойным голосом:

– Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь... только я вас не оставлю, не оставлю...

И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль:

– Что ж я делаю? Как же это может быть? Ведь она мертвая.

И тут он, охваченный неописуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся – весь в поту, с головою тяжелою, как свинец, от трудного похмелья, и в отвратительнейшем настроении духа.

На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва прошла. Потом вдруг заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту, опереточную певицу. Потом также неожиданно явился к ней позднею ночью – дикий, безобразный, но не пьяный – и стал умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которую сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру – сує-

верная, как большинство актрис, – поехала в Грузины, к знаменитой цыганке-гадалке, спросить насчет своей судьбы в будущем браке...

Вернулась в слезах...

– В чем дело? Что она вам сказала? – спрашивал невесту встревоженный жених. Та долго отнекивалась, говорила, что «глупости», наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала:

– Свадьбы не бывать. А если и станется, на горе твое. Он не твой. Промежду вас мертвым духом тянет.

Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову. Потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим, шипящим голосом произнес:

– Пронюхали...

Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видала.

В дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговейно безмолвствовал: на эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова – эта величайшая трагическая актриса русской сцены – и, со свойственною ей могучею экспрессией, читала «Коринфскую невесту» Гете*, в переводе Алексея Толстого... Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мертвой невесты-вампира:

И покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна идти за жизнью вновь! –

за колоннами раздался захлебывающийся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь, как пьяный, сби-

вая с ног встречных, бросился бежать из зала, среди общих криков и смятения. Это был Петров. У выхода полицейский остановил его. Он ударил полицейского и впал в бешеное буйство. Его связали и отправили в участок, а поутру безумие его выразилось столь ясно, что оставалось лишь сдать его в лечебницу для душевнобольных. Врачи определили прогрессивный паралич в опасном буйном периоде бреда преследования. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубийца, навещает его из-за гроба, и между ними продолжаются те же ласки, те же отношения, что при жизни, и он не в силах сбросить с себя иго страшной посмертной любви, а чувствует, что она его убивает. Вскоре буйство с Петрова сошло – и он стал умирать медленно и животно, как большинство прогрессивных паралитиков. Галлюцинации его не прекращались, но он стал принимать их совершенно спокойно, как нечто должное, что в порядке вещей.

Дебрянский, старый университетский товарищ Петрова, был свидетелем всего процесса его помешательства. В полную противоположность Петрову, он был человеком редкого равновесия физического и нравственного, отличного здоровья, безупречной наследственности. Звезд с неба не хватал, но и в недалеких умом не числился, в образцы добродетели не стремился, но и в пороки не вдавался, – словом, являлся примерным типом образованного московского буржуа, на холостом положении, завидного жениха и, впоследствии, конечно, прекрасного отца семейства. Когда Петров начал чудачить чересчур уже дико, большинство приятелей и собутыльников стали избегать его: что за охота сохранять близость с человеком, который вот-вот разразится скандалом? Наоборот, Дебрянский – вовсе не бывший с ним близок до того времени – теперь, чувствуя, что с этим одиноким неле-

пым существом творится что-то неладное, стал чаще навещать его. Продолжал свои посещения и впоследствии, в лечебнице. Петров его любил, легко узнавал и охотно с ним разговаривал. Дебрянский был человек любопытный и любознательный. «Настоящего сумасшедшего» он видел вблизи в первый раз и наблюдал с глубоким интересом.

– А не боитесь вы расстроить этими упражнениями свои собственные нервы? – спросил его ординатор лечебницы, Степан Кузьмич Прядильников, на чьем попечении находился Петров. Дебрянский только рассмеялся в ответ:

– Ну, вот еще! Я – как себя помню – даже не чувствовал ни разу, что у меня есть нервы; хоть бы узнать, что за нервы такие бывают.

В дополнение к своим визитам в лечебницу, Дебрянского угораздило еще попасть в кружок оккультистов, который, следуя парижской моде, учредила в Москве хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянского по торговому товариществу «Дебрянского сыновья, Радолин и К°». Над оккультизмом Алексей Леонидович смеялся, да и весь кружок был затеян для смеха, и приключалось в нем больше флирта, чем таинственностей. Но Дебрянского, как неофита, для первого же появления в кружке, нагрузили сочинениями Элифаса Леви* и прочих мистологов XIX века, которые он, по добросовестной привычке к внимательному чтению, аккуратнейшим образом изучил от доски до доски, изрядно одурманив их чертовщиною свою память и расстроив воображение. Однажды он рассказал своим коллегам-оккультистам про сумасшествие Петрова.

– О! – возразил ему старик, важный сановник, считавший себя адептом тайных наук, убежденный в их действительности несколько более, чем другие. – О!

Почему же сумасшедший? Сумасшествие? Хе-хе! Разве это новый случай? Он стар, как мир! Ваш друг не безумнее нас с вами, но он действительно болен ужасно, смертельно, безнадежно. Эта Анна – просто ламия, эмпуза, говоря языком древней демонологии... Вот и все! Прочтите Филострата: он описал, как Аполлоний Тианский*, присутствуя на одной свадьбе, вдруг признал в невесте ламию, заклял ее, заставил исчезнуть и тем спас жениха от верной гибели... Вот! Ваш Петров во власти ламии, поверьте мне, а не безумный, нисколько не безумный...

Дебрянский слушал шамканье старика, смотрел на его дряблое, бабье лицо с бесцветными глазами и думал:

– Посадить твое превосходительство с другом моим Васильем Яковлевичем в одну камеру – то-то вышли бы вы два сапога – пара!

– Смотрите, Алексей Леонидович! – со смехом вмешалась хозяйка дома, – берегитесь, чтобы эта ламия, или как ее там зовут, не набросилась на вас. Они, ведь, ненасытные!

– Если бы я была ламией, – перебила другая бойкая барынька, – я бы ни за что не стала ходить к Петрову, – он такой скверный, грубый, пьяный, уродливый!.. Нет, я, полюбила бы какого-нибудь красивого-красивого.

– Да уж, разумеется, вести загробный роман с Петровым, когда тут же налицо le beau Debriansky*, – это непростительно! У этой глупой ламии нет никакого вкуса!

Алексей Леонидович улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малейшего удовольствия, а напротив, шевелили где-то в глубоком уголке души – новое для него, – жуткое суеверное чувство.

Когда Петров принимался бесконечно повествовать о своей неразлучной мучительнице Анне, было и жаль, и тяжко, и смешно его слушать. Жаль и тяжко, потому что говорил он о галлюцинации ужасного, сверхъестественного характера, которую никто не в силах был представить себе без содрогания. А смешно – до опереточного смешно, – потому что тон его при этом был самый будничный, повседневный тон стареющего фата, которому до смерти надоела капризная содержанка, и он рад бы с нею разделаться, да не смеет или не может.

– Я поссорился вчера с Анною, начисто поссорился, – ораторствовал он, расхаживая по своей камере и стараясь заложить руки в халат без карманов тем же фатовским движением, каким когда-то клал их в карманы брюк, при открытой визитке.

– За что же, Василий Яковлевич? – спросил ординатор, подмигивая Дебрянскому.

– За то, что неряха! Знаете, эти русские наши Церлины*, – сколько ни дрессируй, все от них деревенщиной отдает... Хоть в семи водах мой! Приходит вчера, шляпу сняла, проводим время честь честью, целуемся. Глядь, а у нее тут вот, за ухом, все – красное, красное... Матушка! Что это у тебя? – Кровь... – Какая кровь? – Как какая? Разве ты позабыл? Ведь, я же застрелилась... Ну, тут я вышел из себя, и – ну, ее отчитывать!... Всему, – говорю, – есть границы: какое мне дело, что ты застрелилась? Ты на свидание идешь, так можешь, кажется, и прибраться немножко! Я крови видеть не могу, а ты мне ее в глаза тычешь! Хорошо, что я нервами крепок, а другой бы ведь... Словом, жучил ее, жучил – часа полтора! Ну, она молчит, знает, что виновата... Она ведь и живая-то была мо-ол-ча-ливая, – протянул он с внезапною тоскою. – Крикнешь на нее, бывало, – молчит... все молчит... все молчит...

– Вот тоже, – оживляясь, продолжал он, – сыростью от нее пахнет ужасно, холодом несет, плесенью какою-то... Каждый день говорю ей: – Что за безобразие? Извиняется: – Это от земли, от могилы. Опять я скажу: какое мне дело до твоей могилы? В могиле можешь чем угодно пахнуть, но, раз ты живешь с порядочным человеком, разве так можно? Вытирайся одеколоном, духов возьми... опопонакс, корилопсис, есть хорошие запахи... поди в магазин, к Брокару там или Сиу какому-нибудь и купи. А она мне на это, дура этакая, представьте себе: – Да ведь меня, Василий Яковлевич, в магазин-то не пустят, мертвенькая ведь я... Вот и толкуй с нею!

В другой раз Петров, когда Алексей Леонидович долго у него засиделся, бесцеремонно выгнал его от себя вместе с ординатором.

– Ну вас, господа, к черту! Посидели, и будет! – суетливо говорил он, кокетливо охорашиваясь пред воображаемым зеркалом, – она сейчас придет... не до вас нам теперь. Я уже чувствую: вот она... на крыльцо теперь вошла... ступайте, ступайте, милые гости! Хозяева вас не задерживают!

– Ну, bonne chance pour tout!* – засмеялся ординатор, – вы хоть бы когда-нибудь показали нам ее, Василий Яковлевич? А?

– Да, дурака нашли, – серьезно отозвался Петров. – Нет, батюшка, я рогов носить не желаю. А впрочем, – переменил он тон, – вы, наверное, встретите ее в коридоре... Ха-ха-ха! Только не отбивать! Только не отбивать!

И он залился хохотом, грозя пальцем то тому, то другому.

На Дебрянского эта сцена произвела удручающее впечатление. В коридоре он шел следом за Прядиль-

никовым, потупив голову, в глубоком раздумьи... А ординатор ворчал, озабоченно нюхая воздух.

– Опять эти идолы, сторожа, открыли форточку во двор. Черт знает, что за двор! Малярийная отрава какая-то, – и холод его не берет... Чувствуете, какая миазматическая сырость?

В самом деле, Дебрянского пронизало до костей холодною, влажною струею затхлого воздуха, летевшего им навстречу. Степан Кузьмич, с ловкостью кошки, вскочил на высокий подоконник и собственноручно захлопнул преступную форточку, с сердцем проклиная домохозяев вообще, а своего в особенности...

– Нечего сказать, в славном месте держим лечебницу.

Он крепко соскочил на пол и зашагал далее. В темном конце коридора, близко к выходу, он столкнулся лицом к лицу с дамою в черном платье. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькою, бледною, глаз ее было не видать под вуалем. Ординатор поменялся с нею поклоном, сказал: «Здравствуйте, голубушка!» – и прошел. Вдруг, он перестал слышать позади себя шаги Дебрянского... Обернулся и увидал, что тот стоит – белый, как мел, бессильно прислонясь к стене, и держится рукою за сердце, дико глядя в спину только что прошедшей дамы.

– Вам дурно? Припадок? – бросился к нему врач.

– Э... э... это что же? – пролепетал Дебрянский, отделяясь от стены и тыча пальцем вслед незнакомке.

– Как что? Наша кастелянша, Софья Ивановна Круг.

Дебрянский сразу покраснел, как вареный рак, и даже плюнул от злости.

– Нет, доктор, вы правы: надо мне перестать бывать у вас в лечебнице. Тут, нехотя, с ума сойдешь... Этот Петров так меня настроил... Да нет! Я даже и говорить не хочу, что мне вообразилось.

Оберегая свои нервы, Дебрянский перестал бывать у Петрова и вернул Радолиной Элифаса Леви, Сара Пеладана* и весь мистический бред, которым было отравился.

– Ну их! От них голова кругом идет.

– Ах, изменник! – засмеялась Радолина, – ну, а что ваш интересный друг и его прекрасная ламия? Влюблена она уже в вас или нет?

– Типун бы вам на язык! – с неожиданно искреннею досадою возразил Алексей Леонидович.

Недели две спустя докладывают ему в конторе, что его спрашивает солдат из лечебницы с запискою от главного врача. Последний настойчиво приглашал его к Петрову, так как у больного выпал светлый промежуток, которым он сам желал воспользоваться, чтобы дать Дебрянскому кое-какие распоряжения по делам. «Торопитесь, – писал врач, – это последняя вспышка, затем наступит полное отупение, он накануне смерти».

Дебрянский отправился в лечебницу пешком, – она отстояла недалеко, – захватив с собою посланного солдата. Это был человек пожилой, угрюмого вида, но разговорчивый. По дороге он посвятил Дебрянского во все хозяйственные тайны странного, замкнутого мирка лечебницы, настоящею королевою которой – по интимным отношениям к попечителю учреждения – оказывалась кастелянша, та самая Софья Ивановна Круг, что встретилась недавно Дебрянскому с ординатором в коридоре, у камеры Петрова. По словам солдата, весь медицинский персонал был в открытой войне с этою особою. «Только супротив нее и сам господин главный врач ничего не могут поделать, потому что десять лет у его сиятельства в экономках прожила и до сих пор от них подарки получает». Солдат защищал врачей,

ругал Софью Ивановну ругательски и сожалел князя-попечителя.

– И что он в ней, в немке, лестного для себя нашел? Никакой барственной деликатности! Рыжая, толстая – одно слово слон персидский!

Алексея Леонидовича словно ударили:

– Что-о-о? – протянул он, приостанавливаясь на ходу, – ты говоришь: она рыжая, толстая?

– Так точно-с. Гнедой масти – сущая кобыла ногайская.

У Дебрянского сердце замерло и холод по спине побежал; значит, они встретили тогда не Софью Ивановну Круг, а кого-то другую, совсем на нее не похожую, и ординатор солгал... Но зачем он солгал? Что за смысл был ему лгать?

Страшно смущенный и растерянный, он собрался с духом и спросил у солдата:

– Скажи, брат, пожалуйста, как у вас в лечебнице думают о болезни моего приятеля Петрова?

Солдат сконфузился:

– Что же нам думать? Мы не доктора.

– Да что доктора-то говорят, я знаю. А вот вы, служители, не приметили ли чего-нибудь особенного?

Солдат помолчал немного и потом, залпом, решительно выпалил:

– Я, ваше высокоблагородие, так полагаю, что им бы не доктора надо, а старца хорошего, чтобы по требнику отчитал.

И, почтительно приклоня рот свой к уху Дебрянского, зашептал:

– Доктора им, по учености своей, не верят, говорят «воображение», а только они, при всей болезни своей, правы: ходит-с она к ним.

– Кто ходит? – болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные пальцы.

– Анна эта... ихняя, застреленная-с...

– Бог знает что!

Дебрянский зашагал быстрее.

– Ты видел? – отрывисто спросил он на ходу, после короткого молчания.

– Никак нет-с. Так чтобы фигурою – не случилось, а только имеем замечание, что ходит.

– Какое же замечание?

– Да вот хоть бы намедни, Карпов, товарищ мой, был дежурный по коридору. Дело к вечеру. Видит: лампы тускло горят. Стал заправлять – одну, другую... только вот откуда-то его так и пробирает холодом, сыростью так и обдает – ровно из погреба.

– Ну-ну... – лихорадочно торопил его Дебрянский.

– Пошел Карпов по коридору смотреть, где форточка открыта. Нет, все заперты. Только обернулся он и видит: у Петрова господина в номер дверь приотворилась и затворилась... и опять мимо Карпова холодом понесло... Карпову и взбрело на мысль: а ведь это не иначе, что больной стекло высадил да бежать хочет... Пошел к господину Петрову, а тот – без чувствия, еле жив лежит... Окно и все прочее цело... Ну, тут Карпов догадался, что это у них Анна ихняя в гостях была, и обуял его такой страх, такой страх... От службы пошел было отказываться, да господин главный врач на него как крикнет! Что, говорит, ты, мерзавец этакий, бредни врешь? Вот я самого тебя упрячу, чтобы тебе в глазах не мерещилось...

– Ему не мерещилось, – с внезапным убеждением сказал Дебрянский.

– Так точно, ваше высокоблагородие, человек трезвый, своими глазами видел. Да разве с господином главным врачом станешь спорить?

Петрова Алексей Леонидович застал в постели, крайне слабым, но вполне разумным. Говорил он тихим, упавшим голосом.

– Вот что, брат Алексей Леонидович, – шептал он, чувствую, что капут, разделка... ну и того... хотел проститься, сказать нечто...

– Э! Поживем еще! – бодро стал было утешать его Дебрянский, но больной отрицательно покачал головою.

– Нет, кончено, умираю. Съела она меня, съела... Вы не гримасничайте, Степан Кузьмич, – улыбнулся он в сторону ординатора, – это я про болезнь говорю: съела, а не про другое что...

Тот замахал руками:

– Да Бог с вами! Я и не думал!

– Так вот, любезный друг, Алексей Леонидович, – продолжал Петров, – во-первых, позволь тебя поблагодарить за все участие, которое ты мне оказал в недуге моем... Один, ведь, не бросил меня околевать, как собаку.

– Ну, что там... стоит ли? – пробормотал Дебрянский.

– Затем – уж будь благодетелем до конца. Болезнь эта так внезапно нахлынула, дела остались неразобранными, в хаосе... Ну, клиентурою-то совет распорядится, а вот по части личного моего благосостояния, просто уж и ума не приложу, что делать. Прямых наследников у меня, как ты знаешь, нету. Завещания не могу уже сделать: родственники оспаривать будут дееспособность и, конечно, выиграют... Между тем хотелось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное... Да... о чем бишь я?

Глаза его помутились было и утратили разумное выражение, но он справился с собою и продолжал:

– Так вот завещания-то я не могу сделать, а между тем мне бы хотелось и тебе что-нибудь оставить на память... на память, чтобы не забыл... Дрянь у меня родня, ничего не дадут... на память, чтобы не забыл... Анне-бедняжке памятник следовало бы... Мертвенькая она у меня... памятник, чтобы не забыл...

Он страшно слабел и путал слова. Ординатор заглянул ему в лицо и махнул рукою.

– Защелкнуло! – сказал он с досадою. – Теперь вы больше толку от него не добьетесь! Он уже опять бредит.

Больной тупо посмотрел на него.

– Ан не брежу! – хитро и глупо сказал он, – завещание! Вот что!.. Дебрянскому – чтобы не забыл! Что? Брежу? Только завещать – тю-тю! Нечего! Вот тебе и – чтобы не забыл. А вы – брежу! Как можно? Завещание Анна съела... хе-хе! Глупа – ну, и съела! Ну, и шиш тебе, Алексей Леонидович! Шиш с маслом!

И он стал смеяться тихим, бессмысленным смехом. Потом, как бы пораженный внезапною мыслью, уставился на Дебрянского и долго рассматривал его пристально и серьезно. Потом сказал медленно и важно:

– А знаешь что, Алексей Леонидович? Завещаю-ка я тебе свою Анну?

– Угостил! – улыбнулся ординатор, а Дебрянский так и встрепенулся, как подстреленная птица:

– Господи! Василий Яковлевич! Что ты только говоришь?

Больной снисходительно замахал руками:

– Не благодари, не благодари... не стоит! Анну – тебе, твоя Анна... ни-ни! Кончено! Бери, не отнекивайся!.. Твоя! Уступаю!.. Только ты с нею строго, строго, а

то она – у-у-у, какая! Меня съела и тебя съест. Бедовая! Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня вместо крови – одна вода и белые шарики... как бишь их там?.. Хоть под микроскоп! Ха-ха-ха! И с тобою то же будет, друг, Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода: жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих...

Дебрянский слушал этот хаос слов с каким-то глухим отчаянием.

– Да что вы! – шептал ему ординатор, – на вас лица нету... Опомнитесь! Ведь это же бред сумасшедшего...

А Петров лепетал:

– Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я – выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди. Она говорит: уйду, но дай мне, взамен себя, другого. Сказываю тебе: молода, не дожила свое и не долюбила. Ну что ж? Ты приятель мой, друг, я тебе благодарен... вот ты ее и возьми, приюти, пусть тебя любит... ты стоишь... возьми, возьми!

– Уйдем! Это слишком тяжело! – пробормотал Дебрянский, потянув ординатора за рукав.

– Да, невесело! – согласился тот.

Они вышли.

> И, покончив с ним,
> Я пойду к другим,
> Я должна, должна идти за жизнью вновь... –

летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова.

Очутясь в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна, и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку.

– Степан Кузьмич! – сказал он дружеским и печальным голосом, – зачем вы мне тогда солгали?

Прядильников вытаращил на него глаза:

– Когда?!

– А помните, вот на этом самом месте мы встретили...

– Софью Ивановну Круг. Помню, потому что вам тогда что-то почудилось и вы чуть не упали в обморок.

– Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич.

Ординатор пристально взглянул ему в лицо.

– Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно! – мягко сказал он. – Как не Софья Ивановна? Да хотите, мы позовем ее сейчас, самое спросим.

И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которою помещалась амбулаторная приемная.

– Софья Ивановна! – крикнул он, отворяя еще какую-то дверь, – благоволите пожаловать сюда.

– Gleich!*

Выплыла огромная, казенного образца немка aus Riga, с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком.

– Вот-с... – показал в ее сторону всей рукою ординатор, – Софья Ивановна! Голубушка! Вы помните, как, с неделю тому назад, встретили меня вот с этим господином возле нумера господина Петрова.

– Oh, ja! – протянула немка голосом сырым и сдобным. – Я ошень помниль. Потому что каспадин был ошень bleich*, и я ошень себе много удивлений даваль, зашем такой braver Herr* есть так много ошень bleich...

– Ну-с? Вы слышали? – засмеялся ординатор.

Дебрянский был поражен до исступления. Свидетельство немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем он присягнуть был готов, что у встреченной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост...

– Да не столковались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня! – подумал он с тоскою, – когда им было, и зачем.

И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне:

– Извините, пожалуйста. Я вот спорил со Степаном Кузьмичом. Мне тогда вы показались совсем не такою.

– О! Я из бань шел, – получил он прозаический и добродушный ответ. – Из бань шеловек hat immer разный лизо*, и я имел лизо весьма ошень разный...

Глупая немка, «с весьма очень разным лицом», своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова, так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим легковерием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Пречистенский бульвар, встретил сановника-оккультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно без всякого опасения нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию.

– О! – сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь, рассказал, какую штуку сыграли с ним расстроенные нервы. – О! Вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении – что вы имеете дело с ламией. Они ужасные бестии, эти ламии, – могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят жи-

вые люди... Да! Так что вы, молодой друг мой, несомненно видели не эту толстомясую немку – которая, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес! – но ламию, самую настоящую ламию, в настоящем ее виде. А господину ординарцу она представилась немкою... еще раз очень прошу вас: дайте мне ее адрес.

На мгновение Дебрянского как бы ожгло.

– Глупости! – с досадою сказал он про себя, – довольно дурить! Пора взять себя в руки! Что я – семидесятилетний рамолик*, что ли, выживший из ума?

И, расхохотавшись, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах.

В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал с знакомым в «Эрмитаже»* и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная холостая квартирка встретила его теплом и комфортом. В спальне, ласково грея, тлел камин. У Дебрянского была привычка – перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и, в одном белье, сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул, ярко озарил всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе... Он вспоминал только что виденную веселую оперетку, с примадонною, такою же толстою, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом, вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими...

– Уж не умеешь говорить по-русски, – качаясь в кресле, рассуждал он незаметно засыпающим умом, – так говори по-иностранному... иностранные слова... Да!.. цивилизация, поэзия, абрикотин... Тьфу! Что это я?! – опамятовался он и, встрепенувшись от дремы, по-

добрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова и заклевал носом.

– А многие есть и образованные, – продолжало качать его, – не знают говорить иностранные слова, – да... цивилизация, Стэнли, апельсин... иностранные... А поэзия это особо... Вавилов, музыкант, «дуэт» не может выговорить, все на первый слог ударяет... Образованный, иностранный, а не может... дует Глинки, дует Стэнли, апельсинизация... Дует, дует, откуда, зачем дует?.. В коридоре дует... ужасно скверно, когда дует...

Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком, и слева, откуда дуло, он услыхал, над самым своим ухом, будто кто-то греет руки: ладонь защуршала о ладонь... Он лениво взглянул в ту сторону. На ручке ближайшего кресла – чуть видная в багряном отблеске потухающего камина – сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку.

– Это... та! Немка из лечебницы! – спокойно подумал Дебрянский, – ишь, как иззябла... да, дует, дует... иностранная немка, с весьма очень разным лицом.

Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания... Наконец она повернула к нему лицо – бледное лицо, с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь... И бледные губки ее дрогнули, и странно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы... и раздался голос, тихий, ровный и низкий, точно из-за глухой стены:

– Анною звать-то меня... Аннушка я... мы перемышльские...

1900-1901
Сменцево – Спб.

Александр Амфитеатров

КИММЕРИЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Земля, как и вода, содержит газы —
И это были пузыри земли...

«Макбет».

О, покончив с ним,
Я пойду к другим —
Я должна идти за жизнью вновь.

Коринфская невеста.

Милый Саша!

Ты конечно, очень изумишься, узнав, что я в Корфу, а не на Плющихе. Корфу... это действительно, как-то мне не к лицу. Я человек самый московский: сытый, облененный легкою службою и холостым комфортом, сидячий, постоянный и не мечтающий. И смолоду пылок не был, а к тридцати пяти годам вовсе разучился понимать вас, беспокойных шатунов по белому свету, охотников до сильных ощущений, новостей и необыкновенностей. Взамен бушующих морей, гордых альпийских вершин, классических развалин и мраморных богов, русскому интеллигенту отпущены: мягкая кушетка, пылающий камин, интересная книга и восприимчивое воображение.

Я не отрицаю потребности в сильных ощущениях; но нет надобности испытывать их лично, если возможно их воображать, не выходя ни из душевного равновесия, ни из комнаты, и притом вчуже... ну, хоть по Пьеру Лоти* или Гюи де-Мопассану. Подставлять же нео-

быкновенностям свою собственную шкуру, скучать без них, напрашиваться на них, как делаешь ты и тебе подобные, – страсть, для меня не понятная.

Она – извини за вульгарность! – напоминает мне старую мою приятельницу, калужскую купчиху-дворничиху, которая скучала, когда ее не кусали блохи. Я не переменил своего мнения и теперь, так неожиданно свалившись с серой Плющихи на сверкающий Корфу, где вечно синее небо, как опрокинутая чаша, переливается в вечно синее море. Красиво; но воображение создает красоту... не лучше, а – как бы тебе сказать? – уютнее, что ли, чем действительность. Я глубоко сожалею о своем московском кабинете, камине, кушетке, о службе, о моих книгах и друзьях, обо всем, во что сливается для меня север. В гостях хорошо, а дома лучше, и, если бы я мог, я бы сейчас вернулся. Но я не могу, и мне никогда уже не быть дома... Никогда, никогда!

Я уехал из Москвы ни с кем не простясь, безрасчетно порвав с выгодною службой, бросив оплаченную за год вперед квартиру, не устроив своих дел... Ты видишь, что это – не путешествие, но бегство. Да, я бежал. Не от врагов и не от самого себя: первых у меня нет, совесть же моя – как у всякого среднего человека; ей нечем ни похвалиться, ни мучиться. Бежал потому, что там у себя на Плющихе, невзначай заглянул в великую тайну, которой не знал и знать не хотел... боялся знать.

Потому что эта тайна раньше, в редкие минуты, когда я касался до нее рассеянной мыслью, мерещилась мне в образах, полных грозной, мрачно-величавой поэзии; она угнетала меня, заставляла терять счастливое равновесие моей жизни. Храня свое спокойствие, здоровую душу в здоровом теле, я старался позабыть о ней. И позабыл, и никогда о ней не думал. Но она сама навязалась мне, непрошеная. И она вовсе не вели-

чавая, но мещанская, серая, будничная... И это очень тяжело. Ты знаешь мою последнюю квартиру на Плющихе, в доме Арефьева, № 20. Она славная – просторная и светленькая, для одинокого холостяка с семейными привычками – клад. Я занял ее с августа, после дачи, заново отделанную после съехавшего весною жильца, адвоката Петрова. Я его хорошо знаю: большой делец и еще больший кутила. Нанимая квартиру, я было поехал к нему за справками, как он был ею доволен, но и на новой его квартире красовались билетики о сдаче; а дворник сообщил мне, что не так давно Петров допился до белой горячки и помещен родными в лечебницу для нервно-больных.

Я поселился у Арефьева без справок и не раскаялся. Уютно жилось. Ты у меня бывал, – знаешь. Вечером, 18 ноября, я собрался было в гости... чуть ли даже не к тебе. Но термометр стоял на нуле, что в эту пору года для Москвы хуже всякого мороза: значит, и ветер, и сырость, и слякоть; тучи лежали обложные, стекла залипали талым слезящимся снегом. Я остался дома за самоваром и книгою; кстати, Денисов, третьего дня, снабдил меня «La Bas» Гюисманса* и просил поскорее возвратить.

Часов около десяти – звонок. Сергей докладывает:

– Там пришла какая-то... спрашивает.

Я удивился.

– Дама? в такую пору?

– Да и не так, чтобы дама; на мамзюльку смахивает.

– Раньше бывала?

– Не примечал...

– Зови.

Вошла «мамзюлька». Брюнетка. Маленькая, тощенькая, но совсем молодая и очень красивая. Ресницы

длинные, строгие и такие дремучие, что за ними не видать глаз. Спрашиваю:

– Чем могу служить? Она, не поднимая глаз, отвечает мне этаким тихим голосом и немного сиповатым:

– Я от Петрова.

– Петрова? какого Петрова?

– Присяжного поверенного...

– Который прежде жил на этой квартире?

– Да.

– Но позвольте: я слышал, что он очень болен, пользуется в лечебнице душевно-больных.

– Да.

– Как же он мог послать вас ко мне и зачем?

– Он мне сказал: Анна! что ты ко мне пристала, отвязаться не хочешь? У меня ничего уже нет, я сумасшедший и скоро умру. Ты не имеешь больше права меня мучить. Иди к другим! Я спросила: Вася, куда же я пойду? Я никого кроме тебя не знаю. Он ответил: ступай в квартиру, где мы с тобой жили; там есть Алексей Леонидович Дебрянский; он тебя примет.

Это походило на ложь: откуда бы Петрову знать, что я занял его бывшую квартиру? А говорит – точь в точь не очень памятливое дитя отвечает урок: ровно, и с растяжкою, каждое слово само по себе, – совсем капель из желоба: кап... кап... кап...

– Что же вам угодно? повторил я, но, оглядев ее хрупкую фигурку, невольно прибавил: – прошу вас садиться, и не угодно ли вам чашку чаю? Кажется, вам не лишнее согреться. Я бы даже посоветовал вам прибавить вина или коньяку.

Иззябла она ужасно: зеленое лицо, синие губы, юбка в грязи и мокра по колено. Видимое дело: издалека и пешком.

Она молча опустилась на стул. Я подал ей чашку. Она выпила залпом, кажется, не разбирая, что пьет.

Чай с коньяком согрел ее; губы стали алыми, янтарные щеки подернулись слабым румянцем. Она была, действительно очень хороша собою. Мне хотелось видеть ее глаза, но ее ресницы только дрожали, а не поднимались. Всего раза два сверкнул на меня ее взгляд, острый и блестящий, да и то исподтишка, искоса, когда я отворачивался в сторону. Зато, кусая хлеб, она обнаруживала превосходные зубы – мелкие, ровные, белые.

После странных откровенностей моей гостьи относительно Петрова, она начала мне казаться и в самом деле «мамзюлькой», которую отправил на все четыре стороны охладевший любовник... и я был не в претензии на Петрова за новое знакомство, хотя продолжал недоумевать, зачем направил он ко мне эту молчаливую особу.

Так что, в третий раз, что ей угодно, я не спросил, сделался очень весел и решился – раз судьба посылает мне романическое приключение — извлечь из него как можно более интересного...

Я не из сентиментальных ухаживателей и, когда женщина мне нравится, бываю довольно остроумен. Однако, моя гостья – хоть бы раз улыбнулась: будто и не слыхала моих шуток и комплиментов. Лицо ее застыло в неподвижном выражении тупого покоя. Она сидела, уронив руки на колена, вполоборота ко мне.

– Я здесь жила, вдруг прервала она меня, не обращая ко мне ни глаз, ни головы – словно меня и не было в комнате. Это упорное невнимание и смешило меня, и злило. Думаю:

– Либо психопатка, либо дура непроходимая.

– Все другое, – продолжала она, глядя в угол, – другое... и обои, и полы... Ага! сентиментальность! Воспользуемся.

– Вы, кажется, очень любите эту квартиру? спросил я, рассчитывая вызвать ее на откровенные излияния. Она, не отвечая, встала и прошла в тот угол, куда глядела.

– Здесь были пятна, – сказала она.

– Какие пятна? озадачился я.

– Кровь.

Отрубила и возвратилась к столу. Я ровно ничего не понимал. Но эта дурочка была такая красивая, походка у нее была такая легкая, что волновала и влекла она меня до одурения... и как-то случилось, что, когда она проходила мимо меня, я обнял ее и привлек ее голову к себе на плечо. Не знаю, что именно в моей гостье подсказало мне, что она не обидится на мою дерзость, но я был уверен, что не обидится, – и точно, не обиделась, даже не удивилась. У нее были холодные, мягкие ручки и холодные губки – большая прелесть в женщине, если она позволяет вам согревать их.

– Взгляни же на меня, шептал я, – зачем ты такая безучастная? У тебя должны быть чудные глазки. Взгляни.

Она отрицательно качнула головой.

– Ты не хочешь?

– Не могу.

– Не можешь? почему?

– Нельзя.

– Ты всегда такая?

Вместо ответа, она медленно подняла руки и обняла мою шею. Стало не до вопросов.

Любовный смерч пролетел. Я валялся у ее ног, воспаленный, полубезумный; а она стояла, положив руку на мои волосы, холодная и невозмутимая, как прежде. У меня лицо горело от ее поцелуев, а мои не пристали к ее щекам – точно я целовал мрамор.

– Мне пора, сказала она.

– Погоди... погоди... Она высвободила руку.
– Пора...
– Тебя ждут? кто? муж? любовник?
Молчит. Потом опять:
– Пора.
– Когда же мы увидимся снова?
– Через месяц... я приду...
– Через месяц?! так долго?
– Раньше нельзя.
– Почему?
Молчит.
– Разве ты не хочешь видеть меня раньше?
– Хочу.
– Так зачем же откладывать свидание?
– Это не я.
– Тебе трудно прийти? тебе мешают?
– Да.
– Семья у тебя что ли?
Молчит.
– Где ты живешь?
Молчит.
– Не хочешь сказать? Может быть ты нездешняя? Молчит и тянется к двери...
– Пусти меня...
Я озлился. Стал поперек двери и говорю:
– Вот тебе мое слово; я тебя не выпущу, пока ты мне не скажешь, кто ты такая, где твоя квартира, и почему ты не вольна в себе.
Губы у нее задрожали... и слышу я... ну, ну, слышу... тем же ровным голосом:
– Потому что я мертвая.
Внятно так...
И... и я ей сразу поверил, и вся она вдруг стала мне ясна. И я не испугался, а только сердце у меня как-то ухнуло вниз, будто упало в желудок, и удивился я очень.

Стою, молчу и гляжу во все глаза. Она спокойно прошла мимо меня в переднюю. Я схватил свечу – и за нею. Там – Сергей, и лицо у него странное. Он выпустил гостью на подъезд. На пороге она обернулась, и я наконец увидал ее глаза... мертвые, неподвижные глаза, в которых не отразился огонек моей свечи... Я вернулся в кабинет. Стою и думаю:

«Что такое? разве это бывает? Разве это можно?»

И все не боюсь; только по хребту бежит вверх холодная, холодная струйка, перебирается на затылок и ерошит волосы. А свеча все у меня в руках, и я ею машу, машу, машу... и остановиться никак не могу... О, Господи!.. Увидал бутылку с коньяком: глотнул прямо из горлышка... зубы стучат, грызут стекло.

– Барин, а, барин! окликает меня Сергей.

Взглянул я на него и вижу, что он *тоже знает*. Бел, как мел, и щеки прыгают, и голос срывается. И тут только, глядя на него, я догадался, как я сам-то испуган.

– Барин, осмелюсь спросить: какая это госпожа у нас были? Я постарался овладеть собою.

– А что?

– Чтой-то они какие... чудные? Вроде, как бы...

И мнется, сам стесняясь нелепости необходимого слова.

– Ну?!

– Вроде, как бы не живые? Я – как расхохочусь... да ведь во все горло! минуты на три! Аж Сергей отскочил. А потом и говорит:

– Вы, барин, не смейтесь. Это бывает. Ходят.

– Что бывает? кто ходит?

– Они... неживые то есть... И дозвольте: такая сейчас мзга на дворе, что хороший хозяин собаки на улицу не выгонит; а они – в одном платьишке, и без шляпы... Это что же-с?

Я ужасно поразился этим: в самом деле! как же я-то не обратил внимания?

– И еще доложу вам: как сейчас вы провожали ее в переднюю, я стоял аккурат супротив зеркала; вас в зеркале видать, меня видать, а ее нет...

Я – опять в хохот, совладать с собой не могу, чувствую, что вот-вот – и истерика. А Сергей стоит, хмурит брови и внимательно меня разглядывает; и ничуть он моей веселости не верит, а в *том* убежден. И это меня остановило. Я умолк, меня охватила страшная тоска...

– Ступай спать, Сергей.

Он вышел. Я видел, как он, на ходу, крестился.

Не знаю, спал ли он в ту ночь. Я – нет. Я зажег свечи на всех столах, во всех углах, чтобы в квартире не осталось ни одного темного местечка, и до солнца проходил среди этой иллюминации. Так вот что! вот что!... *там* все – как живое, как обыкновенное; и однако оно и необыкновенно, и мертво. Я не трус. Я не люблю думать... нет, не люблю решать о загробных тайнах, а фантазировать кто же не любит? Я интересовался спиритизмом, теософистами, новой магией. Я слежу за французской литературой и охотник до ее оккультических бредней.

Вон и сейчас на столе валяется La Bas. Но оккультизм красив, огромен, величав. Там – Саул, вопрошающий Аэндорскую волшебницу, там – боги, выходящие из земли. Манфред заклинает Астарту; Гамлет слушает тайны мертвого отца; Фауст спускается к «матерям». Все эффектные позы, величавые декорации, значительные слова, хламиды, саваны. Ну, положим, я не Саул, не Манфред, не Фауст, а только скромный и благополучный управляющий торговою конторой. Положим, что и чертовщина имеет свой табель о рангах, и мне досталось привидение – по чину: из простеньких, поплоше. Но чем же я хуже, например, какого-

нибудь Аратова из «Клары Милич?»* А сколько ему досталось поэзии! «Розы... розы... розы...» – звуковой вихрь, от которого дух захватывает, слезы просятся на глаза. Но, чтобы привидение пришло запросто в гости и попросило чашку чаю... и, вон, лежит недоеденный кусок хлеба, со следами зубов...

Это что-то уж чересчур по фамильному! Даже смешно... Только как бы мне от этого «смешного» не сойти с ума!...

Свечи мигают желтым пламенем; день. Пришел Сергей; видит, что я не ложился, однако, ни слова. И я молчу.

Напившись чаю, я отправился в лечебницу, где содержался Петров. Это оказалось недалеко, на Девичьем поле, в каких-нибудь пяти-шести минутах ходьбы. Хозяин лечебницы – спокойный, рыжий чухонец, с бледным лицом, которое узкая длинная борода так вытягивала, что при первом взгляде на психиатра невольно являлась мысль:

– Этакая лошадь!

Очень удивился, узнав мое имя.

– Представьте, как вы кстати! Петров уже давно твердит нам вашу фамилию и ждет, что вы придете.

– Следовательно, вы позволите мне повидать его наедине? спросил я, крайне неприятно изумленный этим сообщением.

– Сколько угодно. Он из меланхоликов; смирный. Только вряд ли вы разговоритесь с ним.

– Он так плох?

– Безнадежен. У него прогрессивный паралич. Сейчас он в периоде «мании преследования» и всякую речь сворачивает на свои навязчивые идеи. Путаница, в которой, как сказал бы Полоний, есть однако же что-то систематическое.

Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, с стенами, крашеными в голубой цвет над коричневой панелью, была – как рама к огромному, почти во всю вышину комнаты от пола до потолка, окну; на подоконник были вдвинуты старинные кресла-розвальни, а в креслах лежал неподвижный узел коричневого тряпья. Этот узел был Петров. Я приблизился к нему, превозмогая трусливое замирание сердца. Он медленно повернул ко мне желтое лицо – точно слепленное из целой системы отечных мешков: под глазами на скулах, на висках и выпуклостях лба – всюду обрюзглости, тем более неприятные на вид, что там, где мешков не было, лицо казалось очень худым, кожа липла к костям.

Петров бросил на меня взгляд – и бессмысленный, и острый – и проворчал:

– Ага, приехал... Я знал... ждал... Садись.

Мы с ним никогда не были на «ты», но теперь его «ты» не показалось мне странным. Как будто вдруг явилось между нами нечто такое, после чего иначе говорить стало нельзя, и «вы» звучало бы пошло и глупо. Мы внезапно сблизились, теснее чего нельзя, хотя и не дружественной близостью. Я мялся, затрудняясь начать разговор:

– Как, мол, это ты, Василий Яковлевич, посылаешь ко мне в гости мертвых женщин?

Ему, сумасшедшему, такой вопрос, может быть, и не покажется диким; но ведь я-то – в здравом уме и твердой памяти: какое же нравственное право имею я предлагать такие вопросы? Но, пока я медлил, он сам спрашивает:

– Что? была?

Совсем равнодушно. А у меня дыхание теснит, и губы холодеют.

– Вижу, бормочет, – вижу, что была. Ну что ж? С этим, братец, мириться надо, ничего не поделаешь. Терпи.

– Ты о ком говоришь то, Василий Яковлевич? не уразумею тебя никак...

– Как о ком, братец? О ней... об Анне.

Я привскочил на стуле, схватил Петрова за руки. И все во мне дрожало. Шепчу:

– Так это было вправду? И он шепчет:

– А ты думал – нет?

– И, стало быть, действительно, есть такая мертвая Анна, которую мы с тобой вдвоем видим и знаем?

– Есть, брат.

– Кто же она? скажи мне, безумный ты человек!

– Я знаю, кто она была, а кто она теперь, это, брат, мудрее нас с тобою.

– Галлюцинация? бред? сон?

– Нет, братец, какой там сон... Но потом подумал и головою затряс.

– А, впрочем, черт ее знает: может быть, и сон. Только вот именно от этого сна я сначала спился, а теперь собрался умирать. И притом, как же это? – он ухмыльнулся, – я сижу в сумасшедшем доме, ты обретаешься на свободе и в своем разуме, а сны у нас одинаковые.

– Ты мне ее послал? горячо упрекнул я. Он прищурился как-то и хитро, и глупо.

– Я послал.

– Зачем?

– Затем, что она меня съела, а еще голодна, – пускай других ест.

– Ест?!

– Ну, да: жизнь ест. Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня, вместо крови, одна вода и белые шарики... как

бишь их там?.. Хоть под микроскоп! Ха-ха-ха! И с тобой то же будет, друг Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода: жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих, многих...

И расхохотался так, что запрыгали все комки и шишки его обезображенного лица.

– Ты смеешься надо мною. Как: «хочет жить и любить»? Она мертвая...

– Мертвая, а ходит. Что она разбила себе пулей висок, да закопали ее в яму, да в яме она сгнила, так и нет ее? Ан вот и врешь: есть! На миллиарды частиц распалась и, как распалась, тут-то и ожила. Они, брат, все живут, мертвые-то. Мы с тобой говорим, а между нами вон в этом луче колеблется, быть может, целый вымерший народ. Из каждой горсточки воздуха можно вылепить сотню таких, как Анна.

Он сжал кулак и, медленно разжав его, отряхнул пальцы. Я с содроганием последил его жест. Сумасшедшая болтовня Петрова начинала меня подавлять.

– Ты думаешь, воздух пустой? бормотал он, – нет, брат, он лепкий, он живой; в нем материя блуждает... понимаешь? послушная материя, которую великая творческая сила облекает в формы, какие захочет...

– Господи! Василий Яковлевич! – взмолился я, – не своди ты меня с ума: не понимаю я... Но он продолжал бормотать:

– Дифтериты, холеры, тифы... Это ведь они, мертвые, входят в живых и уводят их за собою. Им нужны жизни чужие в отплату за свою жизнь. Ха-ха-ха! в бациллу, чай, веришь, а – что мертвые живут и мстят, не веришь. Вот я бросил карандаш. Он упал на пол. Почему?

– Силою земного притяжения?

– А видишь ты эту силу?

– Разумеется, не вижу.

– Вот и знай, что самое сильное на свете – это невидимое. И, если оно вооружилось против тебя, его не своротишь! Не борись, а покорно погибай.

– Но ведь я видел Анну, – возразил я с тоскою, – я обнимал ее, целовал...

Петров нахмурился.

– Знаю все... испытано... Она сжигает мозг. Другим дифтериты, тифы, холера, а тебе и мне, – он ткнул пальцем, – нам безумие.

– Да за что же? за что? вскричал я в бешенстве. Он нахмурился еще больше.

– О себе-то я знаю, за что. Она, брат, с меня кровь свою взыскивает. Пятна то там, в квартире, закрашены или нет?

– Не знаю... она тоже спрашивала о каких-то пятнах.

– Вот, вот... Это – когда я сказал ей, что хочу жениться, а она – как хочет; либо пусть на родину едет, либо я здесь выдам ее замуж за хорошего человека... А потом прихожу из суда, и она лежит, и полчерепа нет... И мой револьвер... А подоконник, пол – красные: кровь и мозг...

Мы помолчали.

– Хорошо. Она тебя любила, ты ее бросил, она тебе мстит, – это я понимаю. При чем же здесь я то, посторонний человек?

– А к тебе, брат, я ее послал. Я давно ее молил, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди! Она говорит: уйду, но дай мне взамен себя другого. Сказываю тебе: молода, не дожила свое и не долюбила. Я и послал к тебе.

– Да почему же именно ко мне, а не к Петру, Сидору, Антону? как ты вспомнил обо мне? откуда ты узнал, что я живу на твоей квартире? Ведь мы с тобой по-

чти чужие люди, встречались раз-два, много три в год… Почему?!

Петров бессмысленно качал головою и бормотал:

– А я, брат и сам не знаю почему…

Он поднял на меня глаза и засмеялся.

– Алексей Леонидович Дебрянский, Плющиха, дом Арефьева, квартира № 20! Квартира № 20, дом Арефьева, Плющиха, Алексей Леонидович Дебрянский! Дебрянский! Дебрянский! зачастил он громко и быстро.

– Что это значит?

Он ответил мне таинственным взглядом.

– Две недели, брат, так то стучит… вроде телеграфа…

– Кто стучит?

– А вон там…

Петров кивнул на изразцовую печь в углу у входа.

– Мудрецы здешние, доктор с компанией, говорят: сверчки напели. Отчего же они мне напели о Дебрянском, а не о Петре, Сидоре, Антоне, как ты сказал? Кто их научил? Хорошо! пускай сверчки, я согласен и на сверчков, – да научил-то, научил кто их?

Петров подозрительно покосился на двери и нагнулся к моему уху:

– А я знаю: сила, брат, сила научила… та, невидимая, то, что всего сильнее и страшнее. Ты, вот, Анны испугался. Анна – что? Анна – вздор: форма, слепок, пузырь земли! Анна – сама раба. Но власть, но сила, которая оживляет материю этими формами и посылает уничтожать нас, – that is the question!* Ужасно и непостижимо! И они – пузыри-то земли не отвечают о ней. Узнаем, лишь когда сами помрем. Я, брат, скоро, скоро, скоро… И из меня тоже слепится пузырь земли, и из меня!

Он таращил глаза, хватал руками воздух и мял его между ладоней, как глину. Меня он перестал замечать,

весь поглощенный созерцанием незримого мира, который копошился вокруг него...

«Лепкий воздух, живой», с отвращением вспомнил я и задрожал, поймав себя на том, что, повторяя жест Петрова, сам мну в руках воображаемую глину... И, в слепом ужасе пред этою заразою помешательства, я убежал от больного.

Сергей разузнал прошлое нашей квартиры. Действительно, был в ней, при Петрове, трагический случай, скрытый от меня домохозяином при найме квартиры, чтобы не отпугнуть жильца: застрелилась ненароком экономка Петрова – как думали, его любовница. По домовой книге она значилась перемышльскою мещанкою, Анною Порфирьевной Перфильевой, 24 лет...

Так был я сразу выбит из колеи моей спокойной жизни и с тех пор из нее удалились факты, а вместо них воцарились призраки. Я еще не видал их, но уже предчувствовал. Между моим глазом и светом, как будто легла тюлевая сетка; самый ясный из московских дней казался мне серым. В самом прозрачном воздухе, – мерещилось мне, – качается мутная мгла, тонкая, как эфир, и такая же зыбкая... влажная и осклизлая. Я ощущал ее ползучее прикосновение на своем лице. Я чувствовал, что именно эта серая муть и есть таинственная материя, сложенная из отжитых жизней, готовая рождать «пузыри земли» в любой форме, в каждом образе, покорно повелительной силе, чтобы понять которую – говорит Петров – надо сперва умереть. И я знал, что ровно через месяц, час в час, число в число, как обещано, серая мгла снова выбросит из своих недр в мой обиход эту Анну – бессмысленную и бесстрастную любовницу-привидение, вампира, палача, одаренного необъяснимо жестокою, несправедливою властью убить меня своими ласками... за что? за что?

Я посетил психиатра: старого, седобородого профессора, с голым черепом, крутою шишкою выдвинутым вперед, с целым кустарником седых бровей над голубыми глазами. Выслушав меня, он долго думал.

– Туман, сказал он наконец. И, в ответ на мой вопросительный взгляд, прибавил:

– Это все – вот это.

Он указал на окно, седое от разлитой за ним молочно-белой мглы холодных паров; уличные фонари мигали сквозь нее красноватыми тусклыми огоньками, будто из под матовых колпаков.

– Англичане в такие туманы стреляются, а русские сходят с ума. Вы русский, следовательно... Я не буду диспутировать с вами, насколько реальны ваши представления. Во-первых, как вы ни страдаете от них, но вам – не правда ли? – в то же время очень хочется, чтобы они были настоящие, а не воображаемые. Во-вторых, вы пришли ко мне не диспутировать, но лечиться. И я вас вылечу. Бегите отсюда. Бегите туда, где нет этого... – он снова указал на окно, – и, если можно, навсегда. Бегите под яркое небо, под палящее солнце, к ласковым морям, к пальмам и газелям. Там вы забудете своих призраков. А север – родина душевных болезней – для вас более не годится. Ваш Петров сказал правду. Воздух у нас живой и лепкий: он населен сплином, неврастенией, удрученными и раздражительными настроениями. Мы ведь киммерияне. Вы читали Гомера?

– Давно.

Доктор закрыл глаза и прочитал наизусть:

– «Бледная страна мертвых, без солнца, одетая мрачными туманами, где, подобно летучим мышам, рыщут с пронзительными криками стаи жалких привиний, наполняющих и согревающих свои жилы алой кровью, которую высасывают они на могилах своих

жертв». И, когда эта цитата заставила меня вздрогнуть, профессор засмеялся и ударил меня по плечу.

– У вас киммерийская болезнь... Бегите на юг! Недуг, порожденный туманом и мраком, излечивается только солнцем... И вот я здесь...



Сергей Соломин

ВАМПИР

I

Я знал только третью жену Боклевского.

О первых двух ходила легенда, если можно так назвать гнусную, бесстыдную сплетню, ко-торая вьется, липнет, мутит сознание людей, отрав-ляет чистых и служит необходимой духовной пищей грязных.

Говорили много и скверно о причине смерти этих двух женщин.

– Синяя борода!

Факт, конечно, был налицо. Боклевский женился на молоденькой девушке из хорошей дворянской семьи, пришедшей в упадок. Это обстоятельство особенно важно потому, что исключало возможность предположить то обычное преступление, которое ведет злой ум через брак к кошельку женщины.

Сам Боклевский имел хорошие средства и мог жить, не нуждаясь ни в службе, ни в заработке.

Прожил он с первою женою, Ниной, всего полтора года.

До свадьбы и первые месяцы брака она отличалась цветущим здоровьем, ни разу не болела серьезно, и, казалось, этому прекрасному женскому телу суждено долголетие.

Но вскоре молодая женщина начала бледнеть, худеть, все чаще обращалась к врачам и умерла от малокровия и полного упадка сил.

Знакомые с трудом узнавали в лежащем в гробу скелете, обтянутом кожей, еще недавно столь жизнерадостную Нину.

Вторая жена, Вера, почти буквально повторила печальную историю первой.

Смерть на втором году брака произошла от тех же причин: малокровие и упадок сил.

Врачи не видели в болезни этих двух женщин, так безвременно погибших, ничего удивительного, необъяснимого.

– Подобные случаи, когда совершенно здоровые девушки, перейдя к жизни замужней женщины, гибнут от маразма, зарегистрированы в летописях медицины.

– Какая же причина этих случаев? – спрашивали врачей знакомые Боклевского.

– Брак в жизни девушки является всегда роковым моментом, потрясающим весь ее организм. На одних это отражается слабо и лишь временной утратой сил, которые быстро восстанавливаются, даже получают еще больший расцвет, закладывая основание нового существа – женщины. Для других натур потрясение оказывается слишком сильным: девушка гибнет, не превращаясь в женщину. Наблюдались случаи и совершенно противоположные. Малокровные девушки, страдающие той неопределенной болезнью, которую прежде называли «хлорозисом», вступив в брак, излечивались, и через год-другой их нельзя было узнать, до того велика была разница между худосочной девушкой и полной жизни и здоровья женщиной, женой и матерью. Это как бы подтверждает обычный совет старинных врачей при малокровии девиц: «ей пора бы выходить замуж».

– Не думаете ли вы, доктор, что причиной смерти двух жен Боклевского могла быть его болезнь? Чахотка, например?

– Вы рассуждаете, как невежда. Неужели вы думаете, что перед постановкой диагноза врач не делает сотни, тысячи предположений, не строит гипотез. Но фантазия здесь не причем. Нужны факты и факты, точные наблюдения, микроскопический и химический анализ. Я лечил обеих жен Боклевского, не раз созывался консилиум. Выписывали знаменитостей. Сам муж подвергался всестороннему исследованию. Поверьте, все было сделано, все предположения, возможные в данном случае, проверены. Ни туберкулеза, ни другой хронической, истощающей болезни не обнаружено.

Так люди науки и не разъяснили роковой тайны, которую искали окружающие.

Сплетня хотела во чтобы то ни стало найти какую-нибудь пошлую, грязную причину. Стали говорить о том, что Боклевский отвратительно обращался со своими женами и, как говорят, «загнал их в гроб».

Приводили несомненные доказательства зверства мужа, не стеснявшегося бить нежных, прекрасных жен.

II

Все это было мне известно, когда я познакомился с Боклевским, но я привык не всему верить, что считается за общепризнанную истину.

И стал присматриваться к человеку, прославленному «Синей Бородой».

Боклевский, человек высокого роста, сухощавый блондин лет 38, не производил впечатления больного или психопата. Напротив, – это был, по-видимому, совсем нормальный человек, без индивидуальных особенностей. Просто – мужчина, не безобразный, вполне приличный, не особенно умный, но и не глупый. Никому не колол глаз своим богатством, но и не скрывал привычек человека, никогда не нуждавшегося. Все в нем было ровно, уравновешено, без ярких мазков – фигура, зарисованная природой в средних, немного линючих красках. И разговор простой, по существу – обывательский, без углубления в неизведанное, без дерзновенных порывов ввысь.

Я понадобился ему, как адвокат по одному гражданскому процессу, и сам не знаю, как сошелся с ним близко, по-приятельски, но настолько, что он просил меня остаться после делового разговора, спрашивал в кабинет кофе и коньяк, угощал дорогими сигарами. Чаще слушал меня, но иногда и говорил о том, о сем.

Но в один вечер мне почудилось в нем что-то странное, возбужденное. Глаза, эти глаза зеленоватые, водянистые, то и дело загорались золотыми искорками, и мерцающий свет их указывал на то, что мы, окружающие, не все знаем в этом человеке, а есть в нем еще что-то, для нас неведомое, скрытое, тайное.

Я глядел на него с особым любопытством. Нервной рукой чаще обыкновенного наливал он из бутылки и торопил пить, поднимая свою рюмку.

– Вы можете меня поздравить, – сказал он вдруг, словно бросился, очертя голову, в бездну: – я женюсь; на днях свадьба. Мне хочется пригласить вас шафером.

Вот тут-то мне и вспомнилось все, что я слышал раньше об этом двойном вдовце, и мне показалось,

что некто собирается совершить тяжкое преступление и тянет меня в сообщники.

Но я сидел в кабинете богатого клиента, в строго корректной дорогой обстановке, курил ароматную сигару и сам был одет во все изящное, что человека обращает в «и т. п.», в «и т. д.», «и проч».

Я только спросил спокойным, умеренно-громким голосом, полным, однако, внутреннего достоинства.

– Вы женитесь на девушке?

Он весь просиял и глаза его загорелись яркими звездами.

– На девушке, на прекрасной, чистой девушке!

Волнуясь, он встал, и заходил по ковру, устилавшему пол кабинета.

– Я был несчастен два раза. С любовью, с глубокой благодарностью вспоминаю я о моих покойных женах. Какие это были чудные женщины, как любили меня. А я их? Душу готов был отдать за поцелуй, за ласку.

Боклевский долго и молча отмеривал расстояние между письменным столом и камином.

– Я – странный человек. Когда около меня нет юного женского существа, я глубоко несчастен. Не подумайте, что я особенно страстен... женщин, что ли, так сильно люблю. Нет! Мне органически необходима близость женщины. Я становлюсь бодрым, иначе, светлее, лучше смотрю на весь мир, чувствую себя человеком, чувствую, что я существую. В одиночестве я гибну. Не сумею передать вам всего, в точности. Это не по моим силам. Но одинокий я чувствую, как силы постепенно меня оставляют, как я иссыхаю... Простите, не найду слов. Вообразите себе почву, способную произрастить что-нибудь, но бесплодную от долгой засухи. Нужен благотворный, оживляющий дождь. Без него этот чернозем – пыль, тот же песок. Для меня таким дождем, оживляющим долину смерти, дающим кровь и жиз-

ненные соки засохшей мумии, является женщина. Молодое, чистое, нетронутое существо...

В том, что он говорил, не было ничего страшного, а мне было страшно, жутко до тошноты, до истомы во всем теле, и тайный голос предсказывал мне: «погибнет и эта!»

Отчего? Почему?

Передо мною маячила длинная фигура сухощавого блондина, под сорок лет, в возрасте, когда так свойственно искать близости с молодой женщиной, жаждать ее постоянного присутствия.

В чем бы мог я обвинять его, за что ненавидеть, бояться, презирать? Ему, одинокому, хочется тепла, женской ласки, уюта семейной жизни. Дважды он был счастлив и несчастен. Надеется на прочное счастье в третий раз...

И я согласился быть шафером – и, держа над головою его венец, косил глаза на прекрасную фигуру молодой невесты, стыдливо замирающей в предчувствии новой жизни...

На второй год счастливой супружеской жизни заболела и эта. Я был другом их дома, для меня всегда был готов прибор за их столом, я знал мелочи их интимной жизни. Более любящего, мягкого, снисходительного мужа я не видал. Он окружал жену атмосферой любви и ласки, никогда не оставлял ее одинокой, предупреждал каждое ее желание. Через год смотрел на нее такими же влюбленными глазами, как в первые дни после свадьбы. И она, радостная, счастливая – купалась в лучах ласки – и часто сравнивал я ее с ребенком, шалящим в теплой кровати матери, с женщиной, отдавшейся в жаркий день любовным прикосновениям морских волн, под нежащим солнцем юга...

Заболела!

Стала худеть, бледнеть. Погас румянец, поблекли и втянулись щеки, болезненно-жалко обозначились ключицы под шеей и ямки около них, – зато выдвинулись больные, страдающие глаза, молящие о милости, о возврате недавнего здоровья, испуганные, видящие уже то, что видимо только перед концом...

Третья жена Боклевского, Надежда, умерла как и первые две, на втором году замужества.

Я целовал в гробу ее лоб и с ужасом убедился, что это почти мумия, не имеющая обычного холода трупа, словно целовал я не мертвеца, а манекен из целлюлоида...

Боклевский уехал за границу – и я потерял его из виду.

Странные слухи доходили до меня издалека. Там он, пользуясь иными законами о браке, женился опять, и будто жена его умерла, и будто он еще раз связал себя супружеством... Прошло лет восемь. Слухи затихли о Боклевском давно и все перестали им интересоваться.

Общее внимание в нашем городе возбудило известие, что Боклевский едет, отчаянно больной, в свое родовое имение, – едет из-за границы умирать на родине.

Известие это подтвердилось, и вскоре все узнали, что Боклевский вместе с врачом-японцем уже находится в старом усадебном доме села Спас-Колино.

Я поспешил его навестить.

В скелетообразном теле, лежавшем на кровати, я едва узнал когда-то жизнерадостного, хотя всегда сухощавого Боклевского.

И что меня особенно поразило: выражение глаз испуганное, молящее о помощи, как у его третьей жены перед смертью.

Он, видимо, мне обрадовался. Протянул руку, слабо улыбнулся.



Прикосновение его кожи заставило меня содрогнуться. Горячая рука была словно не телесная, а сделанная искусственно. Быть может, из дерева, чем-нибудь обтянутого. Кожа сухая, бумажная, сказал бы я.

И весь он был именно сухой. Тело, которое лишено влаги, жизненных соков. Воспользовавшись моментом, когда больной уснул, я отозвал врача.

– Что с ним?

Японец хитро глянул на меня черными глазами и блеснул на темном лице оскалом белых зубов.

– Вы, европейцы, этому не поверите, Боклевский болен редкой болезнью, известной на Востоке. Особый микроб – мумиефицирующая бацилла. Он много путешествовал, – вероятно, заразился. Тело его медленно, но верно иссыхает и образуется в мумию. Действие этой бациллы известно было в древности. Можно навеки сохранить труп, кусок материи, что хотите, если подвергнуть их действию жидкости, в которой культивирована эта бацилла. Питательной средой для нее служит мед. Вот почему царь Ирод убил жену в гневе и в горьком отчаянии, желая сохранить ее труп, опустил его в стеклянный гроб, наполненный медом, и долго хранил в своем дворце. Боклевский кончит жизнь, обратившись в мумию, и я убежден, что выройте вы его через десять лет, он будет все такой же, как в момент смерти.

Я рассказал японцу о таинственной смерти жен Боклевского.

– Что же, это легко объяснимо. Он заражал их мумиефицирующей бациллой, и они гибли, как организмы более слабые.

Так наука разъяснила тайну «Синей Бороды», который вскорости сам умер и был похоронен в семейном склепе.

Я давно уже отказался от профессии адвоката, живу уединенно в Петербурге, на краю города. Я член общества, изучающего тайные науки и дерзающего переходить через грани, положенные разуму человеческому. Очень мало знаю еще я, ищущий. И в благоприятную минуту я, кверенд, спросил Меона:

– Великий учитель, скажи, что думаешь ты о загадочной смерти жен Боклевского.

Меон, выслушав мой рассказ, омрачился.

– Сын мой, ты стоял близко к одному из ужасных существ, которые, к счастью, появляются в физическом плане очень редко. Человек есть астральное существо в физической оболочке. Когда человек умирает, физическая оболочка его разлагается. Но и в астральном плане происходит нечто подобное физической смерти. Сущность сбрасывает астральную оболочку и уходит в третью сферу – ментальный план. Но оболочка, брошенная душой, не исчезает, – она, напротив, ищет воплощения и в некоторых случаях достигает своей цели. Тогда является человек-вампир. Существо, способное жить лишь за счет других. Существо, невидимо и неосязаемо высасывающее жизненные соки из женщин, если это мужчина, из мужчин, если это женщина. Боклевский был вампиром.

Так тайну Боклевского и его несчастных жен объяснил мне великий учитель оккультных наук...

Но отчего я испытываю такой ужас, такой душевный холод, когда я вижу, что жена моя худеет и бледнеет? И вместе с боязнью потерять ее, внутренний голос говорит мне – «все люди – вампиры, все сосут жизненные соки из других и живут за счет их сил и здоровья, – все живут неосязаемым убийством – и сама жизнь есть цветок, корнями питающийся трупом».

КОММЕНТАРИИ

Таинственный незнакомец

Новелла «Таинственный незнакомец» была впервые опубликована на английском языке в *Chambers's Repository of Instructive and Amusing Tracts* (London & Edinburgh, 1854) как анонимное сочинение, переведенное с немецкого, а в 1860 г. была перепечатана в *Odds and Ends*. В большинстве источников, включая вампирологические энциклопедии и академические исследования, она продолжает фигурировать как сочинение неизвестного автора. Однако создателя исходной немецкой версии установить несложно – это немецкий беллетрист Карл Адольф фон Вахсман (1787-1862). Оригинальное название новеллы предвосхитило Камю: «Der Fremde», т.е. «Незнакомец» или «Посторонний». Захватывающая готическая история печаталась с продолжениями в мае-июне 1847 г. в литературном журнале *Würzburger Conversationsblatt* (№ 56-76). Нацеленностью Вахсмана на популярную литературу объясняются такие характеристики его сочинения, как условно-романтическая обстановка, высокопарно изъясняющиеся пейзане, рыцари, что вечно расхаживают в тяжелых доспехах и, конечно, вампирический сюжет.

Перевод выполнен по первому английскому изданию 1854 г., откуда взяты и иллюстрации; эпиграф к новелле дан в переводе М. Лозинского. Английский вариант был выбран в связи с тем, что именно этот текст повлиял на «Дракулу» Брэма Стокера (1897); известный комментатор «Дракулы» Л. Вольф говорит о «вдохновенном заимствовании» Стокера из «Таинственного незнакомца». Напрашивается предположение, что новелла подсказала Стокеру место действия (Карпатские горы) и лишь затем он, в поисках необходимых деталей, обратился к такому общеизвестному источнику, как статья Э. Джерард «Трансильванские суеверия» (1885). Отметим, что из этой статьи Стокер выписывал не столько сведения о вампирах, сколько подробности прочих трансильванских суеверий, мелочи «локального колорита» вплоть до описаний крестьянской одежды и т.п. (подобный «реализм», в отличие от готики Вахсмана, призван был оттенить сверхъестественный ужас происходящего в романе). В связи со сказанным

хотелось бы указать на одно распространенное заблуждение: Стокеру, как свидетельствуют его подготовительные заметки к «Дракуле», была известна только эта статья Джерард, но не ее книга *The Land Beyond the Forest* («Страна за лесами», 1888).

Действие «Таинственного незнакомца», как и у Стокера, начинается с приезда героев в Карпаты. Совпадают многие детали экспозиции: страх и уклончивые ответы местных жителей, лесной пейзаж, леденящий кровь вой волков, окруживших экипаж и, наконец, первое появление вампира: повелительно воздев руки, граф Дракула у Стокера и Аззо фон Клатка в «Незнакомце» изгоняют хищников. Аззо и Дракулу роднят определенные детали внешности и поведения, происхождение (оба принадлежат к старинным, аристократическим и воинственным семействам), телепатические способности, власть над животными, место обитания (полуразрушенный замок в Карпатах); дневным ложем для обоих служит гроб, оба избирают на роль жертвы прелестную девушку, их появление и исчезновение связывается с туманом и т.д.. В образе Войслава, который старше других годами и хорошо знаком с повадками вампиров, некоторые исследователи усматривают прототип Абрахама ван Хельсинга у Стокера. Как указывает Д. Броунинг (*Encyclopedia of the Vampire: The Living Dead in Myth, Legend, and Popular Culture*, 2010), в многочисленных театральных и кинематографических адаптациях «Дракулы» связь романа и новеллы выявляется со всей очевидностью, а в фильме Д. Бэдема «Дракула» (1979) прямо используются цитаты из «Таинственного незнакомца».

С. 19

...жареный в масле сыр – Любимое кушанье в тех местах (*Прим. авт.*).

С. 24

«Ezzelinus de Klatka, Eques.» – «Эззелин фон Клатка, рыцарь» (лат.).

С. 39

... на terra firma – Т.е. на твердой земле, на суше (лат.).

Упырь на Фурштатской улице

«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставался неизвестен большинству читателей. Удивляться не приходится: лень и алчность издателей, предпочитающих наспех слепить очередную «вампирскую» антологию из бесконечно тасуемого в разных комбинациях набора (Полидори, Байрон, Мериме, Нодье, Стокер и пр.), общеизвестна. Как ни странно, «Упырь» не обратил на себя внимание также русских исследователей вампирического жанра и специалистов по литературной «вампирологии»; впрочем, в приложении к русским авторам и они чаще всего обходятся «малым джентльменским набором» имен: Пушкин («из Мериме»), А. Толстой, Блок, Богданов, мистификация «барона Олшеври» и «вампирические мотивы» у Тургенева, Кузмина или Лермонтова (см. «образ Печорина»). Новелла была впервые напечатана в мартовском номере *Библиотеки для чтения* за 1857 г. и публикуется по этому изданию в новой орфографии. Имя автора было означено в журнале только как «Р....»; установить его нам пока не удалось – даже такой авторитетный источник, как дополненный словарь псевдонимов И. Ф. Масанова, хранит по этому поводу молчание.

Уже само название соотносит новеллу с «Упырем» А. К. Толстого (опубликованным в 1841 г. под псевдонимом «Красногорский»). Совпадает и ряд деталей: рассказчик видит на балу молодую девушку, которой угрожает вампирическая смерть. Примечательны «немецкие» мотивы новеллы, явно идущие от Гоголя. Анна описывается как «девушка-*выродок*» (курсив автора), «не русская и не немка»; она читает Сведенборга и *немецкий* перевод «Вампира». Таким образом, именно податливость в отношении немецких – читай, мистических и романтических – влияний, противопоставленных в речах Ивана Петровича французскому рационализму – и делает ее жертвой «вампиризма», т.е. душевной болезни.

Но безумие ли это? От лица Ивана Петровича, военного медика, автор выдвигает, похоже, естественнонаучное, психологическое объяснение случая с Анной: тоска по убитому жениху, чтение вампирической и эзотерической (Сведенборг) литературы и случайно нанесенная самой себе во сне ранка вызывают «локальное помешательство». Однако страхи Ивана Петровича и зажженные им свечи заставляют подозревать иное: вопреки рассудку, доктор поверил в пришествие убитого жениха-вампира. До-

казательством этого служит подчеркнутое в финале число свечей – если раньше число их точно не указывается («6 или 7 свечей, вдобавок к прежде горевшим двум»), в последней фразе новеллы их оказывается ровно «девять», что составляет важный нумерологический символ в расхожем оккультизме.

С. 61

...sensorium – Здесь: органы чувств (лат.).

...«Chlorosis» – Хлорозис (лат. от греч. cloros, зеленый, бледный), также «девичья немочь», хроническая анемия, встречающаяся у молодых девушек и вызываемая недостатком железа и белков, что придает коже зеленоватый оттенок.

С. 66

Artista del bisturi – Художник скальпеля (итал).

Кафарниумовидный – От cafarnium, здесь: беспорядок, хаотическое скопление предметов.

Пинель (Pinell) – Правильней Pinel; французский врач-психиатр Ф. Пинель (1745-1826), один из основателей современной научной психиатрии; выступал за гуманное обращение с душевнобольными.

С. 67

Condillac, и *Condorcet*, и *Dallembert*, и *Diderot*, и *Voltaire* – Перечислены французские писатели, философы и ученые Э. де Кондильяк (1715-1780), М. Ж. Кондорсе (1743-1794), Ж. д’Аламбер (1717-1783), Д. Дидро (1713-1784), Вольтер (1694-1778).

...comment vous portez vous – Здесь: «все это так, между прочим» (букв. «как поживаете», франц.).

...Ambroise Paré до Bichat и Шомеля – Речь идет о знаменитом французском хирурге и патологе А. Паре (1510-1590), выдающемся анатоме М. Биша (1771-1802) и терапевте и патологе О. Шомеле (1788-1859).

С. 68

Attandez... – Погодите, постойте (франц.).

С. 69

...*Эсквироль* – Также Ж. Э. Эскироль (1772-1840), видный французский психиатр-реформатор, классификатор душевных заболеваний.

С. 75

Шведенборг – Э. Сведенборг (1688-1772), шведский ученый, теолог, виднейший эзотерический философ-визионер.

С. 81

«Er is da» – По тексту: «Он здесь» (нем.).

С. 83

«Er is da – immer da» – «Он здесь – все время здесь» (нем.).

Г. Данилевский. Мертвец-убийца

«Мертвец-убийца» русско-украинского беллетриста, помощника редактора, а затем и главного редактора «Правительственного вестника» Г. П. Данилевского (1829-1890) вошел в его цикл «Святочные вечера» и публикуется в новой орфографии по собранию сочинений автора (1901). Новелла примыкает как в вампирической литературной традиции, так и к развитому жанру «святочного рассказа»; соблюдены все каноны этого жанра: чертовщина разоблачена, зло наказано, мораль и добродетель торжествуют. Вампирические мотивы любопытно сочетаются в новелле с детективными, что позднее стало характерным признаком вампирической литературы: ведь и «Дракулу» Брэма Стокера можно считать детективным триллером.

Идея расследования «вампирского» нападения по приказу Екатерины II, возможно, была подсказана Данилевскому историческим прецедентом – в 1755 г. императрица Мария Терезия направила двух придворных медиков расследовать случай вампиризма в Гермерсдорфе, где по решению городских властей было эксгумировано тело Розины Полакин, скончавшейся в декабре 1754 года; как уверяли жители города, она превратилась в вампира, выбиралась из могилы и нападала на них. Тело женщины обезглавили и сожгли. Ознакомившись с докладом следователей-медиков, главный придворный врач и ближайший советник императрицы Герард ван Свитен (1700-1772) написал сочинение «Замечания о вампиризме», где заклеймил веру в вампиров как суеверие «варварских и невежественных» народов. Расследование это заставило Марию Терезию выпустить особый рескрипт, запрещавший эксгумацию трупов предполагаемых вампиров и издевательства над ними; вампиры объявлялись в документе фантомами воображения.

С. 87

...*Вяземского* – Князь А. А. Вяземский (1727-1793), генерал-прокурор Сената, пользовавшийся большим доверием Екатерины II.

С. 88

...*Степана Иваныча Шешковского* – С. И. Шешковский (1727-1794), секретарь Тайной канцелярии, позднее глава тайной экспедиции, обер-секретарь Сената; при Екатерине вел розыски по важнейшим делам и заработал репутацию ловкого сыщика, не гнушавшегося пытками.

С. 89

...*скуфейку* – Скуфья, остроконечная мягкая шапка черного или фиолетового цвета у православного духовенства, монашествующих и т. д.

С. 90.

...*бедную свою кису* – Т. е. кисет, кошель.

А. Амфитеатров. Он

Новелла А. В. Амфитеатрова (1862-1938) «Он» публикуется по авторскому сборнику «Психопаты: Правда и вымысел» (М., 1893) в новой орфографии; пунктуация авторская. Как и в случае «Истории одного сумасшествия» и «Киммерийской болезни», новелла была позднее использована Амфитеатровым в недооцененном оккультном романе «Жар-Цвет» (1895).

Вампир-суккуб новеллы наделен очевидными демоническими чертами a-la Лермонтов; ангельские видения Анны подчеркивают его близость к Люциферу как падшему ангелу. Он обладает такими частыми у литературного вампира качествами, как необъяснимая привлекательность (сродни «гламору»), телепатия и умение телесно и духовно полностью подчинить себе жертву. Амфитеатров не упоминает употребление крови (помимо намека на «малокровие» героини): здесь и в других его вампирических новеллах вампиры не охотятся за кровью как таковой. Подобно теософско-оккультным вампирам – этот круг источников с достаточной ясностью очерчен самим автором – и, с другой стороны, традиционным вампироподобным ревенантам европейских народных верований, например нахцерерам, они «едят жизнь» (см. новеллу «Киммерийская болезнь»), вытягивают из жертвы жизненные силы. Еще одна общая черта вампирических новелл Амфитеатрова – повышенное внимание к сексуально-эротическим аспектам вампиризма: подоплекой его всегда служит эротическое влечение.

С. 93

... *К Кожевникову в Москву, и к Шарко в Париж* – Речь идет о видном русском невропатологе А. Я. Кожевникове (1836-1902) и выдающемся французском психиатре и неврологе Ж. М. Шарко (1825-1893), наставнике З. Фрейда.

С. 95

...*Nad wszystkich ziem branki...* – «Нет на свете царицы краше польской девицы: / Весела, что котенок у печки, / И, как роза,

румяна, а бела, что сметана, / Очи светятся, будто две свечки» (Пушкин и Мицкевич, «Три Будрыса») (*Прим. авт.*).

С. 96

...повозки божественного Яггернаута – Джаггернаут (от санк. Джаганнатха), понятие, связанное с культом индийского божества Джаганнатхи, «владыки вселенной»); смерть под колесами повозки со статуей Джаганнатхи, по некоторым описаниям, считалась почетным религиозным самопожертвованием и освобождала человека для перехода в духовный мир.

А. Амфитеатров. История одного сумасшествия

Новелла «История одного сумасшествия» публикуется по сборнику А. В. Амфитеатрова «Сказочные были: Старое в новом» (СПб., 1904) в новой орфографии; пунктуация авторская. «История одного сумасшествия» была напечатана в сборнике как «этюд» к роману «Жар-Цвет»; после первой публикации в 1895 г. Амфитеатров дополнял и правил роман, который был издан в дополненном виде в 1910 г. Новелла почти полностью вошла в роман, где можно прочитать и о нервном расстройстве, приключившемся с Дебрянским (страшась появлений Анны, он бродит по ночам по улицам, посещает увеселительные заведения и публичные дома), испытанных им на Корфу видениях и беседах с умершим Петровым и т.д.

С точки зрения истории Петрова, наиболее существенны в романе вставки, касающиеся страшных перемен во внешности адвоката («узел коричневого тряпья», «комки и шишки его обезображенного лица» и т.д.), а также его рассуждений о живых мертвецах и сущности вампирических посетителей. Это «пузыри земли», слепленные из рассеянной в пространстве материи мертвых неведомой силой, «которая оживляет материю этими формами и посылает уничтожать нас». Заметим, что Амфитеатров, как пишет он в предисловии к изданию романа 1910 г., намерен был назвать роман «Пузыри земли»; «Жар-Цвет» появился без его ведома как заглавие журнальной публикации. Можно предположить, что шекспировский мотив «пузырей земли» был позднее позаимствован у Амфитеатрова для цикла «Пузыри зем-

ли» (1904-1905) А. А. Блоком, у которого также встречаются вампирические темы. Сочетание этих тем с коверкающими русский язык немцами в новелле «История одного сумасшествия», сонные мысли Дебрянского, попытки психиатрического истолкования вампиризма и т.д. близко напоминают «Упыря на Фурштатской улице» и заставляют предположить знакомство писателя с этим произведением (не исключено, что из «Упыря» происходит и «Анна» как имя жертвы или самого вампира в вампирических новеллах Амфитеатрова).

С. 104

...*Вагнерова Лоэнгрина* – «Лоэнгрин» – опера Р. Вагнера (1813-1883), впервые поставленная в 1850 г.

С. 106

...*на люэтической подготовке* – Т.е. на фоне заболевания сифилисом.

С. 108

...*«Коринфскую невесту» Гете* – Баллада И. В. Гете (1749-1832) «Коринфская невеста» (1797) – одно из первых литературных произведений на вампирическую тему и краеугольный камень долгой литературной традиции, к которой апеллирует здесь Амфитеатров; сюжет баллады (возвращение мертвой возлюбленной и эротическое единение с нею) был подсказан Гете «Удивительными историями» литератора-вольноотпущенника II в.н.э. Флегонта (Флегона) из Тралл.

С. 110

... *Элифаса Леви* – Наст. имя А. Л. Констан (1810-1875), видный представитель французского «оккультного возрождения» XIX в. и плодовитый автор, чьи сочинения продолжают пользоваться большой популярностью.

...*Филострата... Аполлоний Тианский* – Имеется в виду «Жизнь Аполлония Тианского», жизнеописание греческого философа-неопифагорейца II в. н. э. Аполлония Тианского, считавшегося ма-

гом, волшебником и провидцем; книга была написана в начале III в. римским писателем и ритором Флавием Филостратом.

...le beau Debriansky – Красавчик Дебрянский (франц.).

С. 112

...Церлины – Церлина – персонаж оперы В. А. Моцарта (1756-1791) «Дон Жуан» (1787), деревенская девушка, которая на собственной свадьбе едва не поддалась ухаживаниям Дон Жуана.

С. 113

...bonne chance pour tout – Желаю удачи во всем (франц.).

С. 115

...Сара Пеладана – Имеется в виду французский оккультист Ж. Пеладан (1858-1918), плодовитый романист и автор эзотерических сочинений.

С. 121

...Gleich – Здесь: «Сейчас!» (нем.).

...bleich – Бледный (нем.).

...braver Herr – Бравый господин (нем.).

С. 122

...hat immer разный лизо – Имеет весьма разное лицо (нем., искаж. рус.).

С. 123

...рамолик – Человек, впавший в слабоумие.

...«Эрмитаже» – «Эрмитаж» – известный увеселительный сад в Москве.

А. Амфитеатров. Киммерийская болезнь

«Киммерийская болезнь» публикуется по сборнику А. В. Амфитеатрова «Грезы и тени: (Книга легенд)» (М., 1895) в новой орфографии; пунктуация авторская. Это еще одна и более совершенная в художественном отношении версия истории адвоката Петрова и его знакомца Дебрянского, ставших жертвами вампирической гостьи. Именно отсюда в дополненное издание романа Амфитеатрова «Жар-Цвет» (1910) попали красноречивые описания ужасных трансформаций Петрова, его рассуждения о «пузырях земли» и диагноз, поставленный Дебрянскому психиатром – «киммерийская болезнь» (в версии 1910 г. так названа первая часть романа). Вместе с тем, в романе Амфитеатров отказался от эффектной сцены «соблазнения» мертвой Анны Дебрянским. Эпиграф к новелле – еще одно вероятное свидетельство воздействия вампирических текстов Амфитеатрова на Блока: именно эти строки и в том же переводе А. Кроненберга поэт взял эпиграфом к циклу «Пузыри земли» (1904-1905).

С. 125

...*Пьеру Лоти* – Пьер Лоти (наст. имя Ж. Вио, 1850-1923) – французский морской офицер и популярный в свое время писатель.

С. 127

...*«La Bas» Гюисманса* – Речь идет о нащумевшем романе французского писателя Ж. К. Гюисманса (1848-1907) «Бездна» (1891), где описывались французские сатанисты 1880-х гг.

С. 134

...*Аратова из «Клары Милич»* – Герой мистической повести И. С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» (1882), которому является призрачная и прекрасная актриса-самоубийца, приводящая его к гибели.

С. 139

...that is the question! – «Вот в чем вопрос!» (англ.). Цитата из монолога Гамлета «Быть или не быть...» (Шекспир).

С. 141

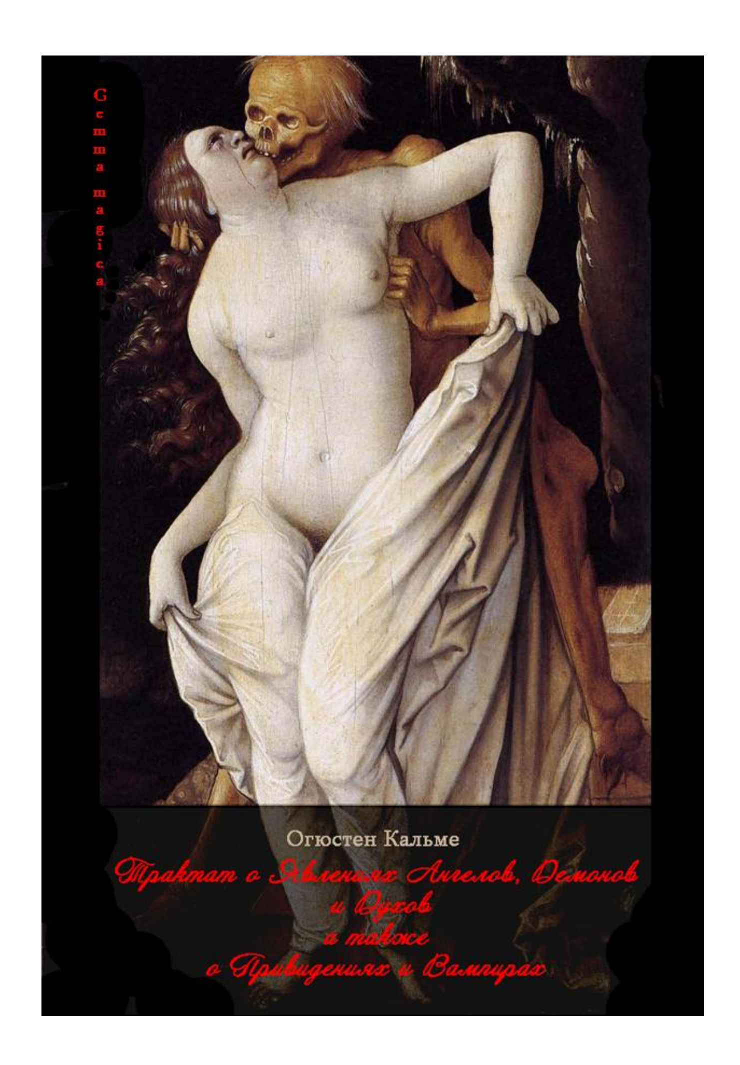
...киммерийцы... Гомера – В описаниях Гомера («Одиссея»), киммерийцы населяют Киммерию на крайнем северо-западе у пределов Океана; они не знают солнца и земля их «вечно покрыта туманом и тучами»; в античные времена Киммерия ассоциировалась с Северным Причерноморьем.

С. Соломин. Вампир

Новелла литератора, революционного деятеля и одного из первых русских научных фантастов С. Я. Стечкина (1864-1913) «Вампир» была впервые напечатана в № 46 *Синего журнала* за 1912 г. под постоянным псевдонимом автора «Соломин». Текст приводится по этой публикации, откуда взят и рисунок Н. Герардова. Новелла любопытна одновременной двуплановой трактовкой вампиризма: научно-фантастической («мумиефицирующая бацилла») и оккультной («астральная оболочка» тела); последняя близка к некоторым теософским интерпретациям вампира как блуждающей «астральной оболочки», которая пытается поддержать жизнь захороненного тела.

Оглавление

В издательстве Salamandra P.V.V. вышла книга:



Огюстен Кальме. Трактат о явлениях ангелов, демонов и духов, а также о привидениях и вампирах в Венгрии, Моравии, Богемии и Силезии. С приложением оригиналь-

ных документов первых вампирических расследований. Сост. и послесл. С. Шаргородского. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 338 с., илл. – (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Новая серия, вып. I.)

Впервые почти за 150 лет к читателю возвращается легендарная книга. Это трактат ученого аббата-бенедиктинца О. Кальме, посвященный явлениям ангелов, демонов и духов, привидениям и вампирам. Со страниц сочинения Кальме, написанного в первой половине XVIII в., встают призраки и демоны, визионеры и колдуны, вампиры и ревенанты.

Книга аббата Кальме стала наиболее известным в Европе XVIII-XIX вв. вампирологическим трактатом и неиссякаемым источником литературных воплощений вампиров.

В послесловии раскрываются взгляды Кальме-вампиролога на фоне вампирологических дебатов эпохи и вампирской эпидемии в Западной Европе, а также история книги в Европе и России.

К трактату приложены впервые переведенные на русский язык оригинальные протоколы и другие документы, связанные с расследованиями случаев вампиризма в первые десятилетия XVIII в., которые породили и вампирскую лихорадку, и отразившиеся в высокой и массовой культуре представления о вампирах.

